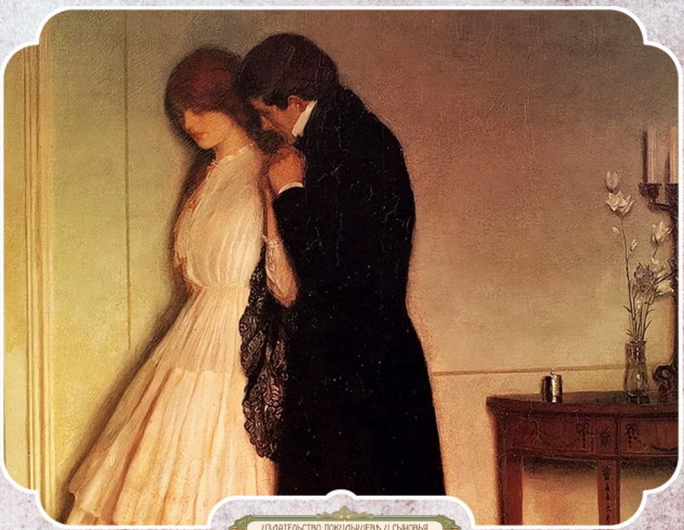
КНУТ
KNUT HAMSUN
ГАМСУН

Knut Hamsun

Пан



ИЗДАТЕЛЬСТВО ПОКИДЫШЕВЪ И СЫНОВЬЯ

Пан
Кнут Гамсун

Аннотация
Кнут Гамсун. Пан
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII

Аннотация

Лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун написал один из самых своих значительных романов «Пан», живя в Париже, и находясь под огромным впечатлением от творчества Достоевского. Это произведение по праву считается литературным примером современной психологии: молодой лейтенант в отставке разрывается между усталостью от цивилизации и идеализацией природы. Он уединяется в северной Норвегии и, посвящает себя охоте и рыбалке, пока в его жизнь не входит странная молодая женщина по имени Эдварда.

Кнут Гамсун
Пан

Knut Hamsun
«PAN»







© Благовещенская М.П., перевод на русский язык
© ИП Воробьёв В.А.
© ООО ИД «СОЮЗ»
W W W. S O Y U Z. RU

I

В последние дни я всё думал и думал о вечном дне северного лета. Я сижу здесь и думаю о нем и о хижине, где я жил, и о лесе за хижиной, и собираюсь написать кое-что, чтобы скоротать время, и для своего собственного удовольствия. Время тянется ужасно медленно, я не могу заставить его идти так быстро, как мне хотелось бы, хотя у меня нет ровно никаких забот, и я живу превесело. Я решительно всем доволен, и что это еще за возраст — мои тридцать лет; несколько дней тому назад я получил издалека два птичьих пера, от кого-то, кто мне вовсе не был их должен; да, два зеленых пера, в листе почтовой бумаги с короной, запечатанном облаткой. Мне прямо было приятно смотреть на эти два дьявольски зеленых птичьих пера. И вообще я не испытываю никаких страданий, разве что по временам немного ломит левую ногу, — следствие старой огнестрельной раны, которая давным-давно уже зажила.

Я помню, что два года тому назад время шло очень быстро, несравненно быстрее теперешнего, лето прошло для меня совершенно незаметно.

Это было два года тому назад, в 1855 году: я хочу написать об этом для своего собственного удовольствия; в то время со мной случилось нечто, или всё это пригрезилось мне. Теперь я многое забыл из пережитого мной тогда, так как я почти и не думал о том с тех пор; но я помню, что ночи были ужасно светлые. Многое представлялось мне в таком измененном виде, в году было двенадцать месяцев, но ночь превратилась в день, и никогда не было видно звезд на небе. И люди, с которыми я сталкивался, были особенные и не походили на тех людей, которых я знал раньше; иногда им бывало достаточно одной ночи, чтобы вдруг созреть и вырасти, во всем их великолепии. В этом не было никакого волшебства, но я никогда не переживал этого раньше. Никогда.

В большом, белом доме там внизу, у моря, встретил я человека, который овладел на некоторое время моими мыслями. Я больше не думаю о ней теперь постоянно, нет, я совершенно забыл о ней; но я думаю о совсем другом, о крике морских птиц, об охоте в лесу, о моих ночах, об этом теплом летнем времени; да, впрочем, я и познакомился-то с ней благодаря только случаю, и без этого случая ни одного дня не было б ее у меня в голове.

Из моей хижины мне была видна вся путаница островов, островков и шхер, было видно немного моря, несколько синеющих горных вершин, а за хижиной лежал лес, огромный лес. Я исполнялся чувством радости и благодарности, вдыхая запах корней и листвы, жирные испарения сосен, напоминающие запах мозга; только в лесу успокаивалось всё внутри меня, моя душа приходила в равновесие и наполнялась мощью. Я бродил день за днем в горах, в сопровождении Эзопа, и ничего большего не желал, как только и дальше бродить день за днем, хотя там лежал еще снег и размякший лед, покрывая половину поверхности. Моим единственным товарищем был Эзоп; теперь у меня Кора, но тогда у меня был Эзоп, собака, которую я потом застрелил.

Часто вечером, когда я возвращался с охоты в свою хижину, уютное ощущение быть у себя дома разливалось по всему моему телу, вызывало во мне приятную внутреннюю дрожь, и я начинал болтать с Эзопом о том, как нам было хорошо.

— Ну вот, теперь мы разведем огонь и зажарим себе дичь на очаге, — говорил я, — как ты насчет этого?

И когда, сделав всё это, мы оба заканчивали нашу трапезу, Эзоп забивался на свое место за

очагом, в то время как я зажигал трубку и ложился отдохнуть на нарах, прислушиваясь к глухому шуму в лесу. В воздухе чувствовалось слабое движение, ветер дул по направлению к хижине, и я ясно мог слышать, как далеко в горах токовали глухари. А то всё было тихо.

И не раз засыпал я там, где лежал, совсем не раздеваясь, в том виде, как я был днем, и просыпался только тогда, когда морские птицы поднимали свой крик. Если мне тогда случалось посмотреть в окно, я мог различить большие белые строения торгового местечка, амбары Сирилунда, лавку, где я покупал себе хлеб, и я продолжал лежать некоторое время, пораженный тем, что я находился здесь в хижине, в северной Норвегии, на опушке леса.

Но вот Эзоп начинал отряхиваться у очага своим длинным тощим телом, его ошейник звенел, он зевал и махал хвостом, и я вскакивал на ноги после этих трех часов сна, совершенно отдохнувший и полный радости.

Так проходила не одна ночь.

II

Пусть идет дождь и бушует буря, — что из этого? Часто незаметная радость может овладеть тобой и в дождливую погоду, и пойдешь ты далеко бродить со своим счастьем. Ты выпрямляешься и смотришь прямо перед собой, по временам смеешься потихоньку и осматриваешься кругом. О чем ты думаешь? О блестящем стекле в каком-нибудь окне, о солнечном луче на этом стекле, о пейзаже с ручейком, а, может быть, и о голубом просвете в небе. Большего не надо.

В другое время даже и необыкновенные события не в состоянии изменить твоего равнодушного вялого настроения; в бальной зале ты можешь сидеть спокойно, безучастно и ни на что не обращать внимания, потому что внутреннее состояние каждого человека служит источником печали или радости.

Я вспоминаю один день. Я сошел к морскому берегу, меня захватил дождь, и я вошел в открытый сарай для лодок, и в ожидании уселся там. Я что-то напевал, но без всякой радости и удовольствия, только чтобы провести время. Эзоп

был со мной, он сел и стал прислушиваться, я перестал напевать и тоже прислушался, снаружи послышались голоса, кто-то подходил к сараю. Случай, совершенно обыкновенный случай! Двое мужчин и девушка, сломя голову, вбежали ко мне. Они кричали друг другу, смеясь:

— Скорее. Здесь мы пока можем укрыться!

Я встал.

У одного из мужчин была сорочка с белой, накрахмаленной грудью, которая теперь, в довершение всего, насквозь промокла от дождя и висела мешком; на этой мокрой груди была укреплена бриллиантовая застежка. На ногах у него были длинные, с острыми носками, башмаки, имевшие довольно щегольской вид. Я поздоровался с этим человеком, это был г-н Мак, торговец, я его знал по мелочной лавке, где я покупал хлеб. Он даже приглашал меня как-то раз к себе, но я до сих пор еще не побывал у него.

— А, старые знакомые! — сказал он, увидев меня. — Мы направлялись к мельнице, и пришлось вернуться. Вот так погода, а? Но когда же вы придете в Сирилунд, г-н лейтенант?

Он представил мне маленького, с черной бородкой, господина, бывшего с ними, — это оказался доктор, который жил при филиальной церкви.

Девушка подняла вуаль до половины лица и стала в полголоса болтать с Эзопом. Я обратил внимание на ее кофточку, по подкладке и петлям я мог заметить, что она была перекрашена. Г-н Мак представил также и девушку — это оказалась его дочь, и ее звали Эдвардой.

Эдварда взглянула на меня через вуаль и продолжала шептаться с собакой и читала на ее ошейнике:

— Да-а, тебя зовут Эзопом, ты... Доктор, кто это был Эзоп? Единственное, что я помню, это, что он сочинял басни. Ведь он был фригиец? Нет, я не знаю.

Ребенок, девица школьного возраста. Я посмотрел на нее, она была высокого роста, но с не сложившимися формами, лет пятнадцати, шестнадцати, с длинными, смуглыми руками без перчаток. Она, может быть, справлялась сегодня вечером в лексиконе об Эзопе, чтобы при случае блеснуть своей осведомленностью.

Г-н Мак спрашивал меня о том, как идет моя охота. Кого я больше всего настрелял? Он уверил меня, что я могу, в любое удобное время, получить в мое распоряжение одну из его лодок; стоило мне только сказать ему. Доктор не сказал ни слова. Когда они уходили, я заметил, что доктор

немного хромал и опирался на палку.

Я поплелся домой, в том же самом вялом настроении, как и раньше, и напевая со скуки. Эта встреча в сарае ничуть не изменила моего состояния духа в ту или другую сторону; лучше всего я запомнил промокшую насквозь сорочку г-на Мака и на ней бриллиантовую застежку, точно также мокрую и совершенно без блеска.

III

Около моей хижины стоял камень, высокий серый камень. У него было выражение дружеского расположения ко мне; казалось, он смотрел на меня, когда я проходил мимо него, и узнавал меня. Я охотно направлял свой путь мимо этого камня, когда я утром выходил из дому, точно я оставлял там доброго друга, который будет дожидаться моего возвращения.

И там наверху, в лесу, начиналась охота. Иногда я что-нибудь убивал, иногда ничего…

За островами лежало море в тяжелом покое. Я много раз стоял и смотрел на него с горных хребтов, когда я взбирался высоко, высоко; в тихие дни корабли почти не подвигались вперед; случалось, я видел в течение трех дней один и тот же парус, маленький и белый, как чайка на воде. Но временами, когда налетал ветер, дальние горы почти исчезали, поднималась непогода, буря с юго-запада, — зрелище, при котором я присутствовал, как зритель. Всё стояло в тумане, земля и небо сливались в одно, море вздымалось в беспорядочной воздушной пляске, образовывая

людей, лошадей и развевающиеся знамена. Я стоял под защитой скалы и думал о всевозможных вещах; моя душа была напряжена. Бог знает, думал я, что мне нынче придется увидать, и в каком виде откроется море теперь перед моими глазами? Быть может, увижу я сейчас недра мозга земли; увижу, как там идет работа, как всё там находится в кипении!

Эзоп был неспокоен, временами он поднимал морду и нюхал воздух, страдая от непогоды, и чуткие его ноги дрожали; так как я с ним не разговаривал, он улегся между моих ног и уставился, как и я, на море. И ни одного возгласа, ни одного человеческого слова нигде не было слышно, ничего, только глухой шум вокруг моей головы. Далеко в море стояла скала, она стояла одна; когда море набрасывалось на нее, она выдвигалась каким-то сумасшедшим винтом, нет, скорее представала как морской бог, который приподнимался весь мокрый из воды и смотрел на мир и фыркал так, что волосы и борода становились колесом вокруг его головы. И вот он опять нырял в кипящий прибой.

И в самый разгар бури показался с моря маленький, черный, как уголь, пароход…. Когда я вечером отправился к пристани, маленький, чер-

ный, как уголь, пароход уже находился в гавани; это быль почтовый пароход.

Много народу собралось на набережной посмотреть на редкого гостя; я заметил, что у всех без исключения были голубые глаза, конечно со всем разнообразием оттенков. Молодая девушка в белом шерстяном платке стояла поодаль; у нее были очень темные волосы, и белый шерстяной платок резко выделялся на ее волосах. Она с любопытством смотрела на меня, на мою кожаную куртку, на мое ружье; когда я с ней заговорил, она смутилась и отвернула голову в сторону. Я сказал: ты всегда должна носить белый шерстяной платок, это идет к тебе.

В это время подошел к ней широкоплечий человек в исландской рубашке, он называл ее Евой. Это была, очевидно, его дочь.

Я знал широкоплечего человека, это был кузнец, местный кузнец. Несколько дней тому назад он ввинтил в одно из моих ружей новую капсюльку…

А дождь и ветер делали свое дело и согнали весь снег. В течение нескольких дней над землею веяло враждебным и холодным настроением, ломились сгнившие ветки, и вороны собирались в стаи и кричали. Это продолжалось недолго,

солнце было близко, как-то раз утром оно взошло из-за леса. Нежная полоса пронизала меня сверху до низу, когда восходило солнце; и я вскинул ружье на плечи в безмолвной радости.

IV

В это время я не испытывал недостатка в дичи, я стрелял всё, что хотел, зайцев, тетеревов, белых куропаток, и когда мне случалось бывать внизу, на морском берегу, и приближаться на расстояние выстрела к какой-нибудь морской птице, я стрелял также и ее. Это было хорошее время, дни становились длиннее и воздух прозрачнее, я снаряжался на два дня и отправлялся в горы, на горные вершины; я встречал лопарей и доставал у них сыр, небольшими кусочками, жирный сыр, отдававший травой. Я бывал там не раз. На обратном пути, я всегда стрелял какую-нибудь птицу и совал ее в ягдташ. Я усаживался и привязывал Эзопа. На милю ниже, под собой видел я море; отвесы скал были мокрые и черные от воды, которая струилась по ним, капала и струилась с одной и той же коротенькой мелодией. Эти короткие мелодии среди гор не раз коротали мне время, когда я сидел там и смотрел кругом. Вот журчит здесь этот слабый бесконечный звук один-одинешенек, думал я, и никто его не слышит, и никто о нем не подумает, а он журчит себе здесь всё

время, всё время. И мне не кажется уже больше, что в горах так пустынно, когда я слышу это журчанье. По временам что-нибудь происходило: гром потрясал землю, отрывался обломок скалы и стремительно скатывался к морю, оставляя за собой дорожку каменной пыли; в то же самое мгновенье Эзоп поднимал морду против ветра и с удивлением втягивал в себя непонятный для него запах гари. Когда снежные воды промыли в скалах трещины, достаточно было одного выстрела или даже резкого крика, чтобы оторвать огромную глыбу и пустить ее под гору…

Проходил час; может, больше: время шло так быстро. Я отвязывал Эзопа, набрасывал ягдташ на другое плечо и отправлялся домой. День склонялся к вечеру. Ниже, в лесу, попадал я непременно на свою старую знакомую тропинку, на узкую ленту тропинки, с удивительнейшими изгибами. Я обходил каждый изгиб, времени у меня было сколько угодно, спешить было нечего, никто не ждал меня дома; свободный, как властелин, шел я там и бродил по мирному лесу не спеша, как мне того хотелось. Все птицы молчали, только глухарь токовал где-то вдали, токовал, не переставая.

Я вышел из леса и увидал перед собой двух лю-

дей. Они гуляли, я к ним приблизился, одной из них оказалась Эдварда, я узнал ее и поклонился, ее сопровождал доктор. Я показал им свое ружье, они так же заинтересованно осмотрели мой компас, ягдташ; я пригласил их к себе в хижину, они обещали как-нибудь зайти.

И вот наступил вечер. Я пришел домой и развел огонь, зажарил птицу и поужинал. Завтра опять будет день… Тихо и спокойно повсюду. Я лежу весь вечер и смотрю в окно, волшебный блеск покоился в это время на полях и лесах, солнце зашло и окрасило горизонт жирным, красным светом, неподвижным, как масло. Небо было совершенно безоблачно и прозрачно, я погружался взором в это ясное море, и, казалось, я лежал лицом к лицу с дном мира, и мое сердце признательно билось, устремляясь на встречу этому обнаженному дну и чувствовало себя там как дома. Бог знает, думал я про себя, почему горизонт одевается сегодня в лиловое с золотом, уж не праздник ли там наверху во вселенной, торжественный праздник, со звездной музыкой и с катаньем в лодках по рекам. Похоже на это! И я закрывал глаза и участвовал в этом катанье, и мысли вихрем проносились в моем мозгу… Так проходил не один день.

Я бродил по окрестностям и наблюдал, как снег превращался в воду и как таял лед. Иногда за несколько дней я ни разу не разряжал ружья, когда у меня в хижине было еще достаточно запасов пищи; свободный, я бродил только по окрестностям, а время шло своей чередой. Куда я не обращал свой взор, везде было на что посмотреть и что послушать, всё изменялось понемногу каждый день, даже ивняк и можжевельник ожидали весны. Я ходил, например, на мельницу, она еще не оттаяла; но земля вокруг нее была утоптана с незапамятных времен и свидетельствовала о том, что туда приходили люди с мешками зерна на спине и обратно получали их с мукой. Я ходил там, как будто среди людей; и на стенах было вырезано много букв и дат. Ну, вот!

V

Писать ли мне еще? Нет, нет. Только немножко, для собственного моего удовольствия и потому, что это занимает мое время — эти рассказы о том, как наступала весна два года тому назад и какой вид имело тогда всё кругом. Земля и море начинали немного пахнуть, слащавый запах сернистого водорода распространялся от старых листьев, гнивших в лесу, и сороки летали с веточками в клюве и строили гнезда. Еще дня два, и ручьи вздулись и начали пениться, кой-где показывались капустницы, и рыбаки возвращались домой со своей ловлей. Приплыли две яхты купца, нагруженные доверху рыбой, и стали на якоре против своего места сушки, вдруг появилась жизнь и движение на самом большом из островов, где должна была сушиться рыба. Я видел всё это из своего окна.

Но до моей хижины не доносилось никакого шума, я как быль, так и оставался один. Иногда проходил кто-нибудь мимо, пару раз я видел Еву, дочь кузнеца, у нее появились на носу две веснушки.

— Куда это ты? — спросил я.

— За дровами, — отвечала она спокойно.

В руках у нее была вязка для дров и на голове был надет белый платок. Я смотрел ей вслед, но она не обернулась.

Так проходили много дней, а я не видел практически ни одной живой души. Весна ломилась, и лес светился; для меня было большим удовольствием наблюдать за дроздами, которые сидели на верхушках деревьев, смотрели на солнце и кричали. Иногда в два часа утра я уже был на ногах, чтобы принять участие в радостном настроении, которое овладевало птицами и зверями, когда всходило солнце.

Весна пришла так же и ко мне, и в моей крови стучало временами, как от шагов, я сидел в хижине и думал пересмотреть свои удилища и лески, но я пальцем не пошевелил, чтобы за что-нибудь приняться; радостная, неясная тревога трепетала в моем сердце. Вдруг Эзоп вспрыгнул, замер на вытянутых лапах и отрывисто залаял. Кто-то подошел к хижине, я поспешно снял свою фуражку с головы и уже слышал голос Эдварды в дверях. По-дружески и запросто она и доктор пришли навестить меня, как и обещали.

— Да, он дома, — говорила она. И она вошла и

протянула мне руку совершенно по-детски. — Мы были здесь также вчера, но вас тогда не было дома, — объяснила она.

Она уселась на нарах, на одеяло, и осматривала хижину; доктор сел рядом со мной на длинную скамью. Мы разговаривали, я рассказал им, между прочим, какие звери водились в лесу и какую дичь я не мог больше стрелять, так как на нее был наложен запрет. Сейчас, например, был запрет на глухарей.

Доктор опять был неразговорчив; но, когда он заметил мою роговую пороховницу, на которой была изображена фигура Пана, он оживился и начал рассказывать мне о Пане.

— А как же вы выживаете, — сказала вдруг Эдварда, — если на всю дичь нельзя будет охотиться?

— Я ловлю рыбу, — отвечал я.

— Но вы можете приходить ужинать к нам, — сказала она. — В прошлом году англичанин жил в вашей хижине, он тоже часто приходил к нам поужинать.

Эдварда смотрела на меня, и я смотрел на нее. Я почувствовал в это мгновенье, что что-то шевельнулось в моем сердце, как будто легкое, мимолетное дружеское приветствие. Это от вес-

ны и от солнечного дня, думал я об этом потом.

Она сказала несколько слов о моем жилище. Стены у меня были увешаны разными шкурами и птичьими крыльями, внутренность хижины походила на мохнатую медвежью берлогу. Это заслужило ее одобрение.

— Да, это самая настоящая берлога, — сказала она.

Мне нечего было предложить гостям, нечем угостить их, и я решил, шутки ради, пожарить какую-нибудь птицу; они должны будуть есть ее по-охотничьи, без приборов, руками. Это займет нас на некоторое время.

И я приготовил птицу.

Эдварда рассказывала про англичанина. Это был старый и странный человек, он громко разговаривал сам с собой. Он был католик, и, где бы он ни находился, всегда у него в кармане был маленький молитвенник с черными и красными буквами.

— Быть может, он был ирландец? — спросил доктор.

— Он был ирландец?

— Неправда ли, раз он был католик?

Эдварда покраснела, она запнулась и стала смотреть в сторону:

— Ну, да, может быть, он был ирландец.

С этого мгновенья она потеряла всю свою веселость.

Мне стало ее жаль, и мне хотелось сгладить неловкую ситуацию. Я сказал:

— Безусловно, вы правы в том, что это был англичанин. Ведь ирландцы не ездят в Норвегию.

Мы договорились как-нибудь отправиться на лодке и посмотреть место сушки рыбы.

Проводив своих гостей, я вернулся назад и уселся с намерением заняться своими рыболовными снастями. Мой садок висел на гвозде у двери, и некоторые петли были попорчены ржавчиной; я отточил несколько крючков, крепко их привязал, пересмотрел лески. Как трудно за что-нибудь приняться сегодня! Мысли роем проносились у меня в голове; мне представилось, что я сделал ошибку, позволив Эдварде сидеть всё время на нарах, вместо того, чтобы предложить ей место на скамье. Я увидел вдруг перед собой ее смуглое лицо и смуглую шею; она завязала передник немного ниже на животе, чтобы подчеркнуть длинную талию, что было тогда в моде. Рот у нее был большой, с пылающими губами.

Я встал, открыл дверь и стал прислушиваться. Я ничего не услышал, и снова затворил дверь;

Эзоп сошел со своего места и внимательно следил за мной. Мне пришло в голову, что я могу догнать Эдварду и попросить у нее немного шелка для починки моего садка; это вовсе не было предлогом, я мог выложить перед ней садок и показать съеденные ржавчиной петли. Я уже вышел за дверь, как вдруг вспомнил, что шелк был у меня у самого, гораздо больше даже, чем было нужно. И я потихоньку и в совершенном унынии опять отправился к себе. Чье-то постороннее дыхание повеяло на меня при входе в хижину, как будто я там больше не был один.

VI

Кто-то спросил меня, разве я не стреляю больше; до него не долетало с гор ни одного моего выстрела, хотя он стоял в бухте и ловил рыбу целых два дня.

— Да, я не охотился, я был дома в хижине, доедая оставшиеся припасы.

На третий день пошел я на охоту. Лес немного зазеленел, пахло землей и деревьями, дикий лук торчал уже зеленый из тронутого морозом мха. Я был полон мыслей и часто останавливался. В течение трех дней я видел одного только человека, того рыбака, которого я встретил вчера; я думал: может, я встречу кого-нибудь сегодня вечером, когда пойду домой, на опушке леса, где я в последний раз встретил доктора и Эдварду. Могло случиться, что они гуляли там опять, может быть да, а, может, и нет. Но почему я думаю именно об этих двух? Я застрелил пару белых куропаток и тотчас же приготовил одну из них; потом привязал Эзопа.

Во время моего импровизированного обеда я лежал на просохшей почве. Кругом было тихо,

слышался только нежный шум ветра и временами крики птиц. Я лежал и смотрел на ветви, которые тихо качались от движения воздуха; ветерок делал свое дело и переносил цветочную пыльцу с ветки на ветку; весь лес стоял очарованный. Зеленая гусеница, землемер, ползла вдоль ветки не останавливаясь. Она была так беззащитна, часто вытягивалась, ища на что бы ей опереться и в этот момент походила на коротенькую зеленую нитку, которая маленькими стежками шьет шов на ветке. К вечеру, может, она и доползет туда, куда ей нужно.

Было очень тихо. Когда будет шесть часов, я пойду домой, и кто знает, может быть встречу кого-нибудь. У меня в запасе еще часа два, а я уже немного беспокоюсь и счищаю вереск и мох со своей одежды. Я знаю места, по которым прохожу; деревья и камни стоят там, как прежде в своем одиночестве, листья шуршат у меня под ногами. Однообразный шелест и знакомые деревья и камни очень много значат для меня, меня переполняет какое-то особенное чувство благодарности, я люблю весь мир. Я поднимаю сухую ветку держу ее в руках и смотрю на нее, пока сижу и думаю о своих чувствах; ветка почти сгнила, мне жаль ее. И когда я встаю и иду

дальше, я не бросаю ветки далеко от себя, а кладу ее на землю и думаю о ней; наконец, смотрю на нее в последний раз влажными от слез глазами, прежде чем покинуть ее.

Уже пять часов. Солнце неверно показывает мне время, я весь день шел на запад, и, может быть, ушел на полчаса вперед сравнительно с моими солнечными отметками у хижины. Всё это я принимаю во внимание, но всё-таки у меня остается еще час до шести, а потому я встаю опять и иду. И листья шуршат под моими ногами. Так проходит еще час.

Я вижу под собой маленькую речку и маленькую мельницу, которые были скованы льдом зимой, и останавливаюсь.

— Я опоздал! — говорю я вслух.

Острая боль пронзает меня, я поворачиваюсь и понурившись иду домой, хотя я уже понимаю, что опоздал. Я ускоряю шаг, почти бегу. Эзоп понимает, что это не спроста, он тянет за ремень, увлекает меня с собой, поскуливая от нетерпения. Но когда мы спускаемся к опушке леса, там никого нет. Занятый своими мыслями, я прошел мимо своей хижины, вниз к Сирилунду, с Эзопом, охотничьей сумкой, и всеми своими принадлежностями.

Господин Мак принял меня с величайшей любезностью и пригласил к ужину.

VII

Иногда мне кажется, что я вижу людей насквозь. Например, мы сидим где-нибудь в комнате: несколько мужчин, несколько женщин и я, и мне кажется, я вижу, что происходить внутри каждого из этих людей и что они думают обо мне. Сижу я там и думаю, что никто и не подозревает, что я вижу насквозь каждого человека. Весь вечер я провел у господина Мака. Я мог бы тотчас же уйти, мне вовсе не было интересно оставаться у него, но ведь я пришел к нему, потому только, что все мои мысли влекли меня туда… Мы играли в вист и пили тодди после еды. Я уселся спиной к залу и опустил голову, сзади меня то входила, то выходила Эдварда. Доктор уехал домой.

Господин Мак показал мне устройство своих новых ламп, первых парафиновых ламп, попавших сюда, великолепные вещицы на тяжелых свинцовых ножках; он сам зажигал их каждый вечер во избежание какого-либо несчастья.

Раза два он начинал говорить о своем дедушке консуле: мой дедушка, консул Мак, получил эту застежку из собственных рук Карла Иоган-

на, говорил он, и показывал пальцем на свою бриллиантовую застежку. Его супруга умерла, он показал мне ее портрет масляными красками в одной из соседних комнат: почтенная женщина в чепце и с дружелюбной улыбкой. В той же комнате стоял также библиотечный шкап, где были даже старинные французские книги, которые, казалось, перешли по наследству; переплеты были изящные, с золотыми тиснениями, и много владельцев написало на них свои имена.

Для виста пришлось позвать двух его приказчиков; они играли медленно и неуверенно, точно рассчитывали, и всё-таки делали ошибки. Одному из них помогала Эдварда.

Я уронил свой стакан и поспешно встал.

— Ах, я уронил свой стакан! — сказал я.

Эдварда разразилась хохотом и отвечала на это:

— Да, это мы все видели.

Все, смеясь, уверяли меня, что это ничего не значит. Мне дали полотенце вытереться, и мы продолжали играть. Было уже одиннадцать часов.

Неприятное чувство овладело мною при смехе Эдварды, я посмотрел на нее, и мне показалось, что ее лицо стало совершенно незначительным

и менее красивым. Господин Мак прекратил, наконец, игру под предлогом, что обоим приказчикам нужно было ложиться спать; потом он откинулся на спинку дивана и начал разговор о том, какую ему повесить вывеску на фасаде его амбара, и спросил у меня об этом совета. Какую краску ему выбрать? Мне было скучно, я отвечал, что черную, совершенно наугад, и господин Мак тотчас же согласился:

— Черную краску, я и сам так думал. Склад соли и пустых бочек, жирными черными буквами, это всего благороднее… Эдварда, а тебе не пора уже спать?

Эдварда встала, подала нам обоим руку, пожелав покойной ночи, и ушла. Мы продолжали сидеть. Мы говорили о железной дороге, которая была окончена в прошлом году, о первой телеграфной линии. Бог знает, как еще далеко на север будет проведен телеграф. Молчание.

— А вот мне, — говорил господин Мак, — совсем незаметно стукнуло сорок шесть, и волоса, и борода поседели. Да и так я чувствую, что постарел. Вы видите меня днем и считаете меня молодым; но, когда наступает вечер, и я остаюсь один, я совершенно падаю духом. Тогда я сижу здесь в комнате и раскладываю пасьянсы. Если сплуту-

ешь разок-другой, то они легко удаются. Ха-ха!

— Пасьянсы удаются, если сплутовать разок-другой? — спросил я.

— Да.

Он встал, подошел к окну и выглянул в него.

Я также встал.

Он обернулся и улыбаясь пошел мне навстречу в своих длинных, с острыми носками, ботинках, засунув оба больших пальца в карманы жилетки. Подойдя ко мне, он еще раз предложил лодку в мое распоряжение и протянул мне руку.

— Впрочем, позвольте, я вас провожу, — сказал он и задул лампы. — Да, мне хочется немного пройтись, еще не поздно.

Мы вышли.

Он указал на дорогу, ведущую к дому кузнеца, и сказал:

— Вам лучше пойти по этой дороге! Это кратчайшая!

— Нет, — отвечал я, — дорога мимо амбаров короче.

Мы обменялись несколькими словами по этому поводу, не придя к соглашению. Я был убежден в том, что я быль прав, и не понимал его упорства. Наконец, он предложил каждому идти своей дорогой; кто придет первым, подождет у хижины.

Мы отправились. Он скоро исчез в лесу.

Я шел обыкновенным шагом и рассчитывал прийти по крайней мере на пять минуть раньше. Но когда я пришел к хижине, он уже стоял там и кричал:

— Ну что, видите! Да, я всегда хожу по этой дороге, она в самом деле кратчайшая.

Я посмотрел с величайшим удивлением на него, он не вспотел и незаметно было, чтобы он бежал. Он тотчас же распрощался, поблагодарил за вечер и отправился той же самой дорогой, какой и пришел.

Я продолжал стоять и размышлял, что всё это очень странно! Я проходил обе эти дороги много раз. Милый человек, ты опять плутуешь! Или это был лишь предлог?

Я видел, как его спина опять скрылась в лесу. Мгновение спустя, я уже шел за ним, осторожно и поспешно; я видел, как он утирал лицо всю дорогу, и знал теперь, как он не бежал. Он шел ужасно медленно, и я не терял его из виду; он остановился у дома кузнеца. Я спрятался и видел, как дверь открылась, и как господин Мак вошел в дом.

VIII

Следующие несколько дней прошли как нельзя лучше; моим единственным другом был лес и великое уединение. Боже мой, я никогда не испытывал большего одиночества, чем в эти дни. Весна была в полном разгаре, я нашел звездчатку и тысячелистник в поле, прилетели зяблики и синицы; я знал всех птиц. Иногда я вынимал из кармана две монеты по двадцать четыре шиллинга и бренчал ими, чтобы нарушить уединение. Я думал: «А что если бы пришли Дидерик и Изелина!»

Ночей больше не бывало, солнце только окунало в море свой диск и опять всходило, красное, обновленное, как будто оно выпило вина во время пребывания там, внизу. Что за странности представлялись мне порой, никто не поверит. Иногда мне казалось, что это сам Пан сидел на дереве и следил за мной. И дерево дрожало от его затаенного смеха. Везде в лесу было движение, животные издавали различные звуки, птицы звали друг друга, их сигналы наполняли воздух. Появились майские жуки: их жужжание пере-

мешивалось с шорохом ночных бабочек; словно шепот возникал то там, то здесь по всему лесу. Было что послушать! Я не спал три ночи, я думал о Дидерике и Изелине.

«Вот, думал я, они придут. И Изелина подведет Дидерика к дереву и скажет:

— Постой-ка здесь, Дидерик, а я попрошу этого охотника завязать мне ремень у обуви. И этот охотник — я, и она движением глаз дает мне понять это. И когда она подходит, мое сердце понимает всё, и оно перестает нормально биться, оно начинает бурно трепетать.

А она-нагая с головы до ног под своим покровом, и я касаюсь ее рукой.

— Завяжи мне ремень! — говорит она, и щеки у нее горят.

И немного спустя она шепчет у самого моего лица, у самых губ:

— О, ты не завяжешь мне ремня, мой милый, нет ты не завяжешь… не завяжешь мне…

Но солнце окунает свой диск в море и вот снова восходит, красное, обновленное, как будто оно побывало там внизу и выпило вина. А воздух наполнен шепотом.

Час спустя она говорит:

— Теперь я должна покинуть тебя.

И она кивает мне, уходя, и ее лицо нежное и восторженное. И она снова оборачивается ко мне и кивает. Но Дидерик отходит от дерева и говорит:

— Изелина, что ты сделала? Я всё видел.

А она отвечает:

— Дидерик, что ты видел? Я ничего не делала.

— Изелина, я видел, что ты делала, — говорить он опять. — Я видел, Изелина.

Тут раздается ее громкий, веселый смех, и она идет с Дидериком дальше, ликующая и грешная. А куда она идет? К очередному новому другу, в лес, к какому-нибудь охотнику.

Была полночь. Эзоп отвязался и охотился сам по себе, я слышал его лай в горах, и когда, наконец, он вернулся обратно, было уже около часа. Показалась пастушка, она вязала чулок, напевала, и смотрела по сторонам. Но где же было ее стадо? И зачем она шла по лесу в полночный час?

Я подумал: она слышала лай Эзопа и знала, что я в лесу.

Когда она подошла, я встал и вопросительно смотрел на нее.

— Откуда ты идешь? — спросил я ее.

— С мельницы, — отвечала она.

— Но что ты делала у мельницы ночью? Как это ты не боишься ходить по лесу в такое время?

И как родители позволяют тебе уходить из дома так поздно? — спросил я.

Она засмеялась и отвечала:

— Мне не надо разрешения родителей. Я уже не так молода, мне девятнадцать лет. Но я был уверен, что ей не было девятнадцати, она точно прибавила себе года два. Но зачем?

— Садись, — сказал я — и скажи, как тебя зовут.

И она села, краснея, рядом со мной и сказала, что ее зовут Генриеттой.

Я спросил:

— У тебя есть возлюбленный, Генриетта, обнимал ли он когда-нибудь тебя?

— Да, — ответила она и засмеялась, смущенная.

— И сколько же раз?

Она молчала.

— Сколько раз? — переспросил я.

— Два раза, — тихо сказала она.

Я привлек ее к себе и спросил:

— Как он делал это? Вот так?

— Да, — прошептала она, вся дрожа.

Было уже четыре часа.

IX

У меня был разговор с Эдвардой.

— Скоро пойдет дождь, — сказал я.

— Который час? — спросила она.

Я посмотрел на солнце и ответил:

— Около пяти.

Она спросила:

— Вы это можете так точно видеть по солнцу?

— Да, — отвечал я — я могу это видеть по солнцу.

Молчание.

— Но когда вы не видите солнца, как тогда вы узнаете время?

— Тогда я ориентируюсь по другим вещам: по морскому приливу и отливу, по траве, которая ложится в определенное время, по пенью птиц, которое постоянно меняется; одни птицы начинают петь, когда другие умолкают. Иногда я узнаю время по цветам, которые закрываются к вечеру, по листве, которая бывает то светло-зеленой, то темно-зеленой, а кроме того, я просто это чувствую.

— Та-ак, — сказала она.

Я думал, что вот-вот пойдет дождь и, жалея Эдварду, не хотел дольше задерживать ее на дороге; я взялся за фуражку. Вдруг она остановила меня еще одним вопросом, и я остался.

Она покраснела и спросила меня, зачем собственно я здесь жил, зачем ходил на охоту, зачем то, зачем это. Я ответил ей, что охотился только для того, чтобы добыть себе необходимое для пропитания. Да, я стрелял, но не для того, чтобы убивать, я стрелял для того, чтобы жить. На день мне достаточно одного тетерева, а потому я не убивал двух, а подстреливал другого на следующий день. Зачем мне было убивать нескольких? Я жил в лесу, я был сын леса; когда был запрет на охоту, я начинал ловить рыбу и жил рыбой. Я люблю лес и уединение. Мне нравится здесь.

Когда я спросил ее, понятно ли ей это, она ответила — да.

Я продолжал говорить, так как ее глаза были устремлены на меня.

— Если бы только вы увидели то, что здесь вижу я, — продолжал я. — Зимой идешь и видишь на снегу след куропатки. Вдруг он пропадает, это значит птица поднялась. Но я могу видеть, в каком направлении полетела дичь, и в скором времени я ее нахожу. Всегда найдется что-нибудь

интересное. Осенью часто приходится наблюдать падающие звезды. А что, думаю я тогда в своем одиночестве, уж не мир ли это какой содрогнулся и разлетелся вдребезги прямо перед моими глазами? И мне, мне удалось увидеть самый настоящий звездный дождь!

— Да, да, я вас понимаю.

— Та-ак. А иногда смотришь на траву, и трава, может быть, тоже смотрит на тебя, кто знает? Я смотрю на какую-нибудь отдельную травинку; она, может, немного дрожит, и мне кажется, что это что-нибудь да значит; я думаю про себя: а вот стоит травинка и дрожит! Интересно почему? Смотришь на сосну, и там найдется, может, какая-нибудь ветка, которая заставить тебя также и о ней немного подумать. А иногда встречаешь в горах и людей, случается.

Я посмотрел на нее, она стояла, сгорбившись, и слушала меня. Я не узнавал ее. Она до такой степени сосредоточилась, что забыла обо всем; ее лицо приняло глупое выражение, рот открылся, губа отвисла.

— Да-а, — сказала она и выпрямилась.

Начал накрапывать дождь.

— Дождь, — сказал я.

— Да, смотрите-ка, дождь, — сказала она и тот-

час же пошла прочь.

Я не стал провожать ее, она пошла своей дорогой, я поспешил к хижине. Прошло несколько минут, начался сильный дождь. Вдруг я услышал, что за мной кто-то бежит. Я остановился и увидел Эдварду. Она покраснела от напряжения и улыбалась.

— Я и забыла об этом, — говорила она, запыхавшись — об этой прогулке на место сушки рыбы. Доктор приезжает завтра, вы будете свободны?

— Завтра? Хорошо. Договорились.

— Я и забыла об этом, — еще раз повторила она и улыбнулась.

Когда она пошла, я обратил внимание на ее тонкие красивые ноги. Башмаки у нее были стоптаны.

X

Я хорошо помню еще один день. То был день, когда для меня наступило лето. Солнце начало уже светить по ночам и высушивало мокрую землю к утру; после последнего дождя воздух стал мягким и свежим.

День склонялся к вечеру, когда я явился на пристань. Вода была совершенно спокойна; смех и болтовня доносились до нас с острова, где мужчины и девушки работали над рыбой. Веселый был это вечер. А разве, правда, не веселый был это вечер? У нас с собой были корзины с едой и вином; у нас собралась большая компания, разместившаяся в двух лодках. Тут были дочери приходского фогта и врача, две гувернантки, дамы из церковного двора; я никогда не видел их раньше, однако, они отнеслись ко мне так радушно, как будто мы знали друг друга давным-давно. Я сделал несколько промахов, я отвык от светских манер и часто говорил: «ты» молодым дамам; но за это на меня не сердились, это мне прощали. Пару раз я сказал: «милая» или «моя милая», но мне извинили также и это и сделали

вид, как будто я этого и не говорил.

На господине Маке, по обыкновению, была его сорочка с бриллиантовой застежкой на ней. Он был, по-видимому, в превосходном настроении и кричал сидевшим на другой лодке:

— Поберегите же корзины с бутылками, эй вы, сумасшедшие! Доктор, вы отвечаете за бутылки.

— Хорошо, — отвечал на это доктор. И только два этих возгласа от лодки к лодке празднично и весело прозвучали в окружающей тишине.

На Эдварде было вчерашнее платье, как будто у нее не было другого или она не хотела надеть его. И башмаки на ней были те же самые. Мне показалось, что руки у нее были не совсем чисты, но на голову она надела совершенно новенькую шляпу с пером. Свою перекрашенную кофточку она захватила с собой, чтобы сидеть на ней.

По желанию господина Мака, я сделал выстрел, в то время как мы выходили на берег, два выстрела, из обоих стволов; потом прокричали ура. Мы бродили по острову; рабочие нам всем кланялись, и господин Мак разговаривали со всеми. Мы нашли гусиную травку и лютик, которых мы понатыкали себе в петлицы. Множество морских птиц гоготало и кричало в воздухе и на обнаженном отливом берегу.

Мы расположились на лугу, где росло несколько кривых берез с белой корой, открыли корзины, и господин Мак вытащил бутылки. Светлые платья, голубые глаза, звон стаканов, море, белые паруса. Мы немного попели, щеки разрумянились.

Прошло около часа, мои мысли были исполнены ликованием, даже мелочи действовали на меня; вуаль развевалась на шляпе, глаза закрываются от смеха, распущенные волосы, и всё это волнует меня. Ах этот день, этот день!

— Я слышала, что у вас маленькая прелестная хижина, господин лейтенант?

— Да, милое уютное гнездышко, Боже, как оно мне по сердцу! Приходите как-нибудь ко мне, барышня; это единственная в своем роде хижина. А за хижиной огромный лес.

Другая подошла ко мне и приветливо спросила:

— Вы раньше не бывали здесь, на севере?

— Нет, — ответил я. — Но я уже знаю всё о здешних краях, сударыня. — По ночам я стою лицом к лицу с горами, землей и солнцем. Впрочем, я не хочу пытаться быть высокопарным. Что за лето у вас! Оно распускается ночью, когда все спят, и утром оно всё еще тут. Я смотрел в свое окно и сам видел это. У меня два маленьких окошка.

Подошла третья. У нее был очаровательный голос и маленькие руки. Как все они были очаровательны! Третья говорит:

— Поменяемся цветами? На счастье.

— Хорошо, — сказал я и протянул руку — благодарю вас. Какая вы красивая; у вас чарующий голос, я слушал его всё время.

Но она отнимает руку с колокольчиками и говорит коротко и ясно:

— Что это с вами? Я вовсе не к вам обращалась!

Она не ко мне обращалась! Мне было больно, что я совершил промах; мне захотелось обратно домой, подальше отсюда, в свою хижину, где со мной говорил только ветер.

— Извините, — сказал я — и простите меня.

Другие дамы переглянулись и ушли, чтобы не удручать меня.

В это самое мгновенье кто-то быстро подошел к нам. Это была Эдварда. Она подошла прямо ко мне, стала что-то говорить, потом бросилась мне на шею, крепко обвила ее руками и несколько раз поцеловала меня в губы.

Я оторопел и не сразу понял, что произошло. Перед глазами был только ее горящий взгляд. Когда она выпустила меня из своих объятий, ее малень-

кая грудь заметно поднималась и опускалась. Она всё еще стояла передо мной смуглая, высокая и стройная, с блестящими глазами. Все смотрели только на нее, совершенно обо всем позабыв. Но, Боже мой, меня поцеловали на виду у всех.

— Что это значит, дорогая Эдварда? — спросил я и почувствовал, как в висках стучит кровь, и это мешает говорить мне отчетливо.

— Ничего не значит, — ответила она. — Просто мне так захотелось.

Я снял фуражку и машинально пригладил волосы.

«Неужели это и правда ничего не значит?» — подумал я.

Вдруг с другого конца острова раздался голос господина Мака. Я не мог разобрать, что он говорит, но порадовался, что господин Мак не был свидетелем этой странной сцены.

Я выдохнул, подошел к своим новым друзьям и, смеясь, сказал:

— Позвольте мне перед всеми вами извиниться в моем неприличном поведении; я сам в отчаянии от этого. Я воспользовался мгновением, когда Эдварда хотела поменяться со мной цветком, не смог сдержать своих чувств и невольно оскорбил ее. Я извиняюсь перед ней и перед вами. Но

встаньте на мое место: я живу один, не привык обходиться с дамами; да к тому же выпил нынче вина, к чему я также не привык. Будьте ко мне снисходительны.

Я засмеялся, стараясь выразить полное равнодушие ко всем этим пустякам, чтобы заставить поскорее забыть о них; но в глубине души я был серьезен. Мои слова не произвели никакого действия на Эдварду, она и не пыталась ослабить впечатление, вызванное ее опрометчивым поступком; наоборот, она уселась рядом со мной и всё время смотрела на меня. Временами она заговаривала со мной. Когда мы потом стали играть в жених и невеста, она сказала громко:

— Я выбираю себе лейтенанта Глана. Я не хочу ухаживать за кем-нибудь другим.

— Черт возьми, да замолчите же вы! — прошептал я и топнул ногой.

Изумление промелькнуло у нее на лице, она сморщила носик и смущенно улыбнулась.

Я был глубоко тронут, я не мог устоять перед выражением покинутости в ее взгляде и во всей ее тоненькой фигуре, я вдруг почувствовал к ней любовь и взял ее длинные худенькие руки в свои.

— Потом! — сказал я. — Не теперь. Мы можем

встретиться завтра.

XI

Ночью я слышал, что Эзоп встал в своем углу и начал ворчать, я это слышал сквозь сон; но так как мне как раз снилась охота, это ворчание подошло к моему сну, и я не проснулся. Когда в два часа утра я вышел из хижины, на траве был след от двух человеческих ног; кто-то здесь был, подошел сперва к одному затем к другому окну. След терялся ниже на дороге.

Она шла мне навстречу с горячим румянцем на щеках, и всё ее лицо сияло.

— Вы меня ждали? — сказала она. — Я боялась, что вам придется ждать.

— Вы хорошо спали? — спросил я.

Я почти не знал, что сказать.

— Нет, совсем нет, я не спала, — отвечала она.

И она рассказала, что не ложилась спать ночью, а сидела на стуле с закрытыми глазами. Она даже выходила из дому прогуляться.

— Кто-то был у моей хижины ночью, — сказал я — я видел утром следы на траве.

Ее лицо густо окрасилось, она взяла меня за руку и ничего не ответила.

Я посмотрел на нее и спросил:

— Быть может, это были вы?

— Да, — ответила она и прижалась ко мне — это была я. — Я вас не разбудила? Я подошла так тихо, как только могла. Да, это была я. Я вас люблю.

XII

Каждый день, каждый день я встречался с ней. Скажу правду, мне было приятно встречаться с ней; да, мое сердце готово было выпрыгнуть из груди. Теперь, спустя два года; я думаю об этом, только когда мне захочется, всё это приключение забавляет и развлекает меня. А относительно двух зеленых птичьих перьев я разъясню в скором времени.

У нас было много мест для свиданий: у мельницы, на дороге, да, даже у меня в хижине; она приходила, куда я хотел.

— Здравствуй! — кричала она всегда первая.

И я отвечал:

— Здравствуй!

— Ты нынче весел, ты поешь, — говорила она, и ее глаза искрились.

— Да, я весел, — отвечал я.

— У тебя пятно, вот здесь на плече, это пыль, может, это грязь с дороги; мне хочется поцеловать его. Всё, что на тебе, всё вызывает во мне нежность, ты приводишь меня в такое волнение.

— Ночью я не спал.

И это была правда, уж не одну ночь пролежал я без сна.

Мы идем рядышком по дороге.

— Ну, что, по-твоему, я веду себя так, как тебе хотелось бы? — говорит она. — Может, я болтаю слишком много? Нет? Да, но ты скажи свое мнение. Временами я думаю, что это ни в коем случае не может быть так хорошо…

— Почему? — спрашиваю я.

— Я боюсь, нам не будет всегда так хорошо. Поверишь ли, сейчас вот меня знобит, ледяная дрожь пронизывает меня вдоль спины, как только я приближаюсь к тебе. Это от счастья.

— Да, отвечаю я — со мной так же, и меня пронизывает ледяная дрожь, как только я тебя увижу. Нет, нам еще долго будет хорошо. А теперь я похлопаю тебя немножко по спине, чтобы согреть.

Она с неохотой соглашается на это; я хлопаю несколько сильнее, чем нужно; я смеюсь и спрашиваю, стало ли лучше.

— Ах, нет, пожалуйста, не стучи меня больше по спине, — говорит она.

Эти два слова! Так беспомощно прозвучало для меня это ее: нет, пожалуйста!

И вот мы пошли дальше по дороге.

— Может быть она рассердилась на мою невин-

ную шутку? — задал я сам себе вопрос. А вслух спросил:

— Что мне вспомнилось… Как-то раз во время прогулки на лодке одна молодая дама сняла с шеи белый шелковый платок и повязала его мне. Вечером я сказал даме: Вы получите ваш платок обратно завтра, когда я его выстираю. Нет, отвечает та, отдайте мне его сейчас, я сохраню его, как он есть, совершенно в том виде, как он был у вас. И она взяла платок. Через три года встретился я опять с молодой дамой. А платок? — сказал я. Платок был с ней. Он лежал у нее в бумаге всё еще не выстиранный, я сам это видел.

Эдварда украдкой взглянула на меня

— Да? Ну что же из этого?

— Ничего, больше ничего не было, сказал я. — Но, по-моему, это просто красивая история.

Молчание.

— Где эта дама теперь?

— За границей.

— Мы больше не разговаривали об этом. Но когда она собралась идти домой, она сказала:

— Покойной ночи. Не думай больше об этой даме; не будешь? Я ни о ком не думаю, кроме тебя.

Я верил ей, я видел, она думала то, что говорила, а для меня всегда было совершенно достаточно,

только бы она думала обо мне. Я пошел за ней.

— Благодарю, Эдварда! — сказал я.

Потом прибавил от всего сердца:

— Ты слишком добра ко мне, но я благодарен тебе, что ты выбрала меня. Бог наградит тебя за это. Я не так хорош, как многие другие из тех, кого бы ты могла избрать; но я всецело твой, беспредельно твой, всей моей бессмертной душой. О чем ты думаешь? У тебя слезы на глазах.

— Это ничего, — отвечала она. — Так странно было слышать, что меня Бог наградит за то… Ты говоришь так, как будто… Я так тебя люблю!

Она бросилась вдруг мне на шею, прямо посреди дороги, и крепко меня поцеловала.

Когда она ушла, я свернул в сторону и углубился в лес, чтобы скрыться и быть одному со своей радостью.

XIII

Летние ночи, и спокойная вода, и бесконечно спокойный лес. Ни крика, ни шума шагов с дороги, мое сердце как будто наполнено темным вином. Моль и ночные бабочки беззвучно влетают в мое окно, привлеченные светом очага и запахом жареной дичи. Они ударяются о потолок с глухим звуком, жужжат у самого уха, так что меня пронизывает дрожь, и садятся на белую роговую пороховницу на стене. Я наблюдаю за ними, они сидят, трепыхаясь, и смотрят на меня, это — шелкопряды, древоточцы и моль. Мне представляется, что некоторые из них похожи на летающие анютины глазки.

Я выхожу из хижины и прислушиваюсь. Ничего, ни малейшего шума, всё спит. Воздух светится от летающих насекомых, от мириад жужжащих крылышек. Там, на опушке леса, растет папоротник и борец; расцвел вереск, и я люблю его маленькие цветки. Благодарение Богу за каждый цветок вереска, который я видел; они были, словно маленькие розы на моем пути, и я плачу от любви к ним. Где-нибудь вблизи тут дикая гвозди-

ка, я не вижу ее, но до меня доносится ее запах.

Но вот ночью вдруг распустились в лесу большие белые цветы, их рубцы открыты, они дышат. И мохнатые сумеречницы опускаются на их листья и приводят в трепет все растение. Я перехожу от одного цветка к другому, они опьянены, это опьяненные цветы. Легкий шум шагов, чье-то дыхание, веселый привет. Я отвечаю, бросаюсь на землю, на дорогу, и обнимаю колени и бедное платье.

— Добрый вечер, Эдварда! — говорю я еще раз, обессилев от счастья.

— Как ты меня любишь! — шепчет она.

— Как я должен быть благодарен тебе! — отвечаю я. — Ты моя, и мое сердце весь день думает только о тебе. Ты прекраснейшая девушка в мире, и я целовал тебя. Часто я краснею от радости при одном воспоминании, что я целовал тебя.

— Почему ты говоришь мне всё это именно сегодня вечером? — спрашивает она.

Для того есть много причин, стоило мне только подумать о ней. Этот взгляд из-под высоко изогнутых на лбу бровей, эта смуглая кожа!

— А разве ты не должна быть дорога мне! — говорю я. — Я иду и благодарю каждое дерево за то, что ты рядом со мной. Раз на одном балу

была молодая дама, которая сидела танец за танцем, и никто ее не приглашал. Я не знал ее, но ее лицо произвело на меня впечатление, и я поклонился ей.

— Нет, — она покачала головой.

— Барышня не танцует? — спросил я.

— Представьте себе, — отвечала она, — мой отец был такой статный, а мать была такая красавица, отец сразу завоевал ее сердце. А я вот — хромая.

Эдварда посмотрела на меня.

— Сядем, — сказала она.

Мы сели на вереск.

— Знаешь, что моя подруга говорить о тебе? — начала она. — У тебя звериный взгляд, говорить она, и когда ты на нее смотришь, она совсем теряет рассудок. Такое ощущение, как будто ты прикасаешься к ней, говорит она.

Какая-то особенная радость промелькнула во мне, когда я это услышал. Радость не за себя, а за Эдварду, и я подумал: да какое мне в принципе дело до того, что кто-то говорит о моем взгляде. Но я все же спросил:

— Что это за подруга?

— Не скажу, — отвечала она, — это одна из тех, что были с нами на острове.

И мы заговорили о другом.

— Мой отец на днях уезжает в Россию, — сказала она, — и тогда я устрою праздник. Ты был на Корхольмах? У нас будут две корзинки вина, с нами отправятся опять дамы из церковного хора, отец уже дал мне вино. Неправда-ли, ты не будешь больше так смотреть на мою подругу? Или, будешь? Тогда я не приглашу ее с собой.

И не сказав больше ни слова, она стремительно бросилась мне на шею и стала смотреть на меня, впилась мне в лицо и слышно было, как она дышала. Ее взгляд стал совершенно черным.

Я вдруг встал и в своем смущении сказал только:

— Та-ак, твой отец уезжает в Россию!

— Почему ты так поспешно встал? — спросила она.

— Ведь уж так поздно, Эдварда, — сказал я. — Вот и белые цветы закрываются, всходит солнце, наступает день.

Я проводил ее через лес и там остановился, чтобы смотреть ей в след, пока было возможно; далеко внизу она обернулась и сдавленным голосом крикнула:

— Покойной ночи!

И вот она исчезла. В то же самое мгновение

раскрылась дверь в избе кузнеца, оттуда вышел человек в белой сорочке, огляделся кругом, надвинул хорошенько шляпу на лоб и направился вниз к Сирилунду.

В моих ушах еще звучали прощальные слова Эдварды.

XIV

Радость опьяняет. Я разряжаю ружье, и незабвенное эхо отвечает от одной горы к другой, несется над морем и раздается в ушах недремлющего рулевого. Чему я рад? Мыслям, что пришли мне в голову; воспоминаниям, звукам в лесу, какому-нибудь человеку. Я думаю о ней, я закрываю глаза, и тихо стою на дороге, и думаю о ней, считаю минуты.

Вот мне захотелось пить, и я пью из ручья, вот я отсчитываю сто шагов вперед и сто шагов назад; теперь уже поздно, думаю я.

Случилось что-нибудь? Прошел месяц, а месяц — это совсем немного времени; ничего не случилось! Бог знает, каким коротким был этот месяц. Но ночи иной раз тянулись долго, и я выдумал окунать в ручей свою фуражку и давать ей сохнуть, только чтобы скоротать время ожидания. Я считал время по ночам. Иногда наступала ночь, и Эдварды не было, как-то ее не было две ночи подряд. Две ночи! Ничего не случилось, но мне казалось тогда, что мое счастье, должно быть, достигло своей высшей точки. И разве это было

не так?

— Слышишь, Эдварда, как неспокойно в лесу сегодня ночью? Что-то шевелится, не переставая, в земляных кучах, и большие листья дрожат. Что-нибудь, может готовится; но я не то хотел сказать. Я слышу, как поет птичка там выше в горах, это простая синица; но она вот уж две ночи сидит на одном и том же месте и щебечет. Слышишь однообразный, монотонный звук?

— Да, я слышу. Почему ты меня об этом спрашиваешь?

— Так. Она там сидит уж две ночи. Я только это и хотел сказать… Благодарю, благодарю тебя, что ты пришла сегодня вечером, моя милая! Я сидел здесь и ждал тебя сегодня или завтра вечером, я так радовался, когда ты пришла.

— И я тоже ждала. Я думаю о тебе, я собрала и спрятала осколки стакана, который ты как-то опрокинул и разбил; ты помнишь? Отец уехал сегодня в ночь, мне было никак не вырваться, мне столько нужно было уложить и о стольким напомнить ему. Я знала, что ты ходил и ждал здесь в лесу, и я плакала и укладывала его вещи.

Но ведь прошло две ночи, подумал я, что она делала первую ночь? И почему теперь в ее глазах нет столько радости, как прежде?

Прошел час. Синица умолкла в горах, лес лежал мертвым. Нет, нет, ничего не случилось; всё было, как прежде; она подала мне руку на прощанье и посмотрела на меня с любовью.

— Завтра? — спросил я.

— Нет, не завтра, — отвечала она. — Завтра ведь будет наш праздник, — сказала она, смеясь. — Я хотела тебя подразнить, но твое лицо приняло такое печальное выражение, что я должна была тебе сказать. Я хотела было пригласить тебя письменно.

И несказанно легко стало у меня на сердце.

— Еще один вопрос, — сказал я, не двигаясь с места. — Сколько времени прошло с тех пор, как ты собрала осколки стакана и спрятала их?

— Сколько времени?

— Ну да, может, уже неделя, две недели?

— Да, может, и две недели. Но почему ты об этом спрашиваешь? Нет, я скажу тебе правду, я сделала это вчера.

Она сделала это вчера, не дальше как вчера она думала обо мне! Ну, теперь всё хорошо.

XV

Две лодки были готовы к отплытию, и мы в них вошли, мы пели и разговаривали. Корхольмы лежали за островами, довольно таки долго пришлось туда плыть, и в это время мы переговаривались друг с другом, с одной лодки на другую. Доктор нарядился в светлое, так же, как и дамы; я никогда раньше не видел его таким довольным, он болтал, он уже не был молчаливым слушателем. У меня сложилось впечатление, что он как будто немножко выпил и был навеселе. В высшей степени любезно он поддерживал разговор с дамами. По отношению к Эдварде он был вежлив и дружелюбен, часто отечески заботлив и, как уже это было много раз, занудно поучителен. Она заговорила о какой-то дате, она сказала, между прочим:

— Я родилась в тридцать восьмом.

И он спросил:

— Тысяча восемьсот тридцать восьмом, вы хотите сказать?

Когда я что-нибудь начинал говорить, он вежливо и внимательно слушал, и не смотрел на

меня свысока.

Молодая девушка подошла ко мне и поздоровалась. Я не узнал ее, я не мог ее вспомнить и высказал свое удивление в таких выражениях, что она рассмеялась. Это была одна из дочерей пробста. Она была вместе с нами на пикнике, и я приглашал ее к себе в хижину.

Мы немного поговорили.

Прошел час, два. Я скучал, пил вино, которым меня угощали, болтал со всеми понемногу. Я снова совершил несколько промахов, в нужное мгновение не знал, как мне отвечать на любезность; иногда начинал говорить бессвязно или же просто отмалчивался и очень терзался этим. Там, у большого камня, который служил нам столом, доктор вел оживленную беседу активно жестикулируя.

— Душа! Что такое собственно душа? — говорил он.

Дочь пробста обвинила его в вольнодумстве.

— Так, стало быть, нельзя думать свободно?

Доктор начал рассуждать о изображениях филиальной церкви: фигуре Христа, превращении воды в вино и пр. Затем перешел к сиянию вокруг головы Христа.

— Что такое это сияние? — недоумевал он. —

Желтый обруч, который поддерживают три волоса.

Две дамы в ужасе всплеснули руками.

Но доктор вывернулся и сказал, шутя:

— Не правда ли, это звучит ужасно? Согласен. Но если повторить себе это, повторить семь или восемь раз и подумать немножко, то это уже не будет звучать так кощунственно... Осмелюсь просить о чести выпить с дамами!

И он встал на колени перед двумя дамами прямо на траву, снял шляпу, но не вытянул ее перед собой, а держал высоко в воздухе левой рукой и осушил стакан, опрокинув голову назад.

Я сам воодушевился его непоколебимой уверенностью и с радостью выпил бы с ним, если бы он уже не осушил своего стакана.

Эдварда не сводила с него глаз. Я приблизился к ней и сказал:

— Мы будем играть в женихи и невесты сегодня?

Она немного вздрогнула и встала.

— Помни, что мы не говорим теперь друг другу ты, — прошептала она.

— Я вовсе и не думал говорить ты.

Я удалился назад.

Прошел еще час, день тянулся бесконечно, я

давным-давно бы уехал домой один, если бы только у меня была третья лодка; Эзоп лежал привязанный в хижине; может, он думал обо мне. Мысли Эдварды, несомненно, блуждали далеко от меня, она говорила о счастье уехать прочь, в другие места; щеки у ней разгорелись при этом, и она стала даже совершать ошибки:

— Никто не был бы более счастливее меня, в тот день…

— Более счастливее, — повторил доктор.

— Что? — спросила она.

— Более счастливее.

— Я не понимаю.

— Вы сказали более счастливее, вот и всё.

— Разве я так сказала? Извините. Никого не было бы счастливее меня в тот день, когда я очутилась бы на палубе корабля. Временами меня тянет, сама не знаю куда.

Ее тянуло отсюда, она более не помнила обо мне. Я по ее лицу видел, что она забыла обо мне. Ну что же об этом говорить? И минуты продолжали тянуться дальше. Я многих спрашивал, не пора ли нам плыть домой; уже поздно, говорил я, а Эзоп лежал привязанный в хижине. Но никому не хотелось домой.

Я в третий раз подошел к дочери пробста, я по-

думал: это она говорила о моем зверином взгляде. Мы чокнулись, у нее были бегающие глаза, они никогда не были спокойны, она смотрела всё время на меня.

— Скажите, мне, — говорил я, — вам не кажется, что люди в этих странах сами очень похожи на короткое лето? Они также мимолетны и очаровательны, как и оно?

Я говорил громко, очень громко, и делал это нарочно.

Я продолжал говорить громко и еще раз предложил барышне побывать у меня и посмотреть мою хижину.

— Бог вас наградить за это, — сказал я, чувствуя себя совсем несчастным, и уже думал, что мне нужно будет что-нибудь подарить ей в случае, если она придет; вероятно, у меня не найдется ничего, кроме моей роговой пороховницы, думал я.

И барышня обещала прийти.

Эдварда сидела, отвернувшись и предоставляла мне говорить, сколько мне было угодно. Однако, она прислушивалась ко всему, что говорилось, и время от времени вставляла свое слово. Доктор гадал молодым дамам по рукам. У него у самого были изящные, маленькие руки с кольцом на одном из пальцев. Я чувствовал себя лишним

и сидел некоторое время в стороне на камне. Наступил уже поздний вечер.

Чувство страшного одиночества овладело мной. Разговор за моей спиной долетал до моих ушей, и я слышал, что Эдварда засмеялась; при этом смехе, я вдруг встал и подошел к веселящейся компании. Возбуждение не покидало меня.

— Только на минутку, — сказал я. — Мне пришло в голову, когда я сидел там в стороне, что, может вам захочется посмотреть на мою коллекцию мух.

И я вытащил альбом.

— Простите, что я не вспомнил об этом раньше. Пожалуйста, просмотрите ее, вы доставите мне удовольствие, вы всё посмотрите, тут есть очень редкие экземпляры красных и желтых мух.

Когда я говорил это, то держал фуражку в руках. Я сам заметил, что снял фуражку, и что это было глупо, а потому я тотчас же надел ее опять.

На несколько мгновений воцарилось глубокое молчание, но никто не потянулся за альбомом. Наконец, доктор протянул к нему руку и вежливо заметил:

— Да-а, благодарю, позвольте нам посмотреть на эти вещицы. Для меня всегда было загадкой, как же составляются такие коллекции.

— Я сам подготовил все эти экземпляры, — сказал я, переполненный благодарностью к нему, и в то же время принялся объяснять, как я их делал.

Эдварда окинула равнодушным взором меня и мой альбом и продолжала разговаривать с подругами.

— Тут же есть и другие материалы, — сказал доктор. — Посмотрите-ка, какие красивые перья.

Эдварда взглянула.

— Зеленые — красивы, — сказала она: дайте-ка посмотреть, доктор

— Возьмите их, — воскликнул я, — Да, возьмите, я прошу вас об этом. Тут два зеленых пера. Доставьте мне такое удовольствие, это на память.

Она посмотрела на них и сказала:

— Они кажутся зелеными или желтыми, в зависимости от того, как их держать на солнце. Хорошо, благодарю, если вам так хочется мне их отдать.

— Да, мне хочется вам их отдать, — сказал я.

Она воткнула перья себе в волосы.

Немного спустя доктор протянул мне альбом обратно и поблагодарил. Он встал и спросил, не пора ли уже нам подумывать о возвращении домой.

Я сказал:

— Конечно, с радостью. У меня дома лежит собака; подумайте, у меня одна собака, она мой друг; она лежит и думает обо мне; когда я приду, она встанет передними лапами на окно и встретит меня. День был такой великолепный, но он скоро закончится; поедемте быстрее домой. Благодарю вас всех за компанию.

Я поджидал в отдалении, чтобы видеть, какую лодку выберет Эдварда, и я решил сесть в другую. Вдруг она позвала меня. Я в удивлении посмотрел на нее, ее лицо было залито ярким румянцем. И вот она подошла ко мне, протянула мне руку и нежно сказала:

— Благодарю за перья... Послушайте, мы сядем ведь в одну лодку?

— Если вы этого хотите, — отвечал я.

Мы уселись в лодку, она заняла место рядом со мной, на моей скамье, и касалась меня своим коленом.

Я посмотрел на нее, и она посмотрела на меня в ответ всего одно мгновение. Мне было приятно прикосновение ее колена, я почувствовал себя вознагражденным за этот несчастный день, и прежняя веселость возвращалась ко мне, как вдруг она переменила положение, повернулась ко мне спиной и начала разговаривать с докто-

ром, сидевшим у руля. Целые четверть часа я не существовал для нее. Тогда я сделал нечто, в чем я раскаиваюсь и о чем я до сих пор еще не забыл. У нее упал с ноги башмак, я схватил его и бросил далеко от себя в воду от радости ли, что она была так близко, или желая дать о себе знать и напомнить ей о своем присутствии, — сам не знаю. Всё это произошло так быстро, я и не успел подумать, я следовал только первому порыву. Дамы подняли крик.

Я сам чувствовал себя словно раздавленным тем, что я сделал; ко какая была польза в том? Что сделано, то сделано. Доктор пришел мне на помощь, он крикнула, — Греби к нему! — и стал править на башмак; в ближайшее мгновение гребец уже схватил его как раз в то время, когда он скрылся под водяной поверхностью; парень замочил рукав выше локтя. И вот громогласное ура раздалось с обеих лодок по случаю спасения башмака.

Я был глубоко пристыжен и чувствовал, что лицо у меня изменилось в цвете и исказилось, в то время, как я вытирал башмак своим носовым платком. Эдварда молча протянула за ним руку. Спустя лишь некоторое время она сказала:

— Никогда ничего подобного не видела.

— Правда? — сказал я в свою очередь.

Я улыбнулся и выпрямился, делал вид, что эту штуку я выкинул по той или другой причине, что под этим что-то кроется. Но что под этим могло крыться? Доктор в первый раз посмотрел на меня презрительно.

Спустя несколько минут неприятное настроение исчезло, мы пели, приближаясь к пристани. Эдварда сказала:

— Послушайте-ка, мы не всё вино выпили, много еще осталось. Мы устроим еще праздник, новый праздник, в скором времени, будем танцевать, у нас будет бал в нашем зале.

Когда мы выходили на берег, я извинился перед Эдвардой.

— Как мне хочется назад к себе в хижину, — сказал я. — Какой мучительный был это день.

— Это был мучительный для вас день, господин лейтенант?

— Я полагаю, — сказал я и отвернулся в сторону — я полагаю, что я испортил день и себе, и другим. Я бросил в воду ваш башмак…

— Да, это была глупая выходка.

— Простите! — сказал я.

XVI

Хуже, кажется, и быть не могло. Я решил оставаться спокойным, что бы ни произошло, Бог тому свидетель.

Разве я первый навязался на знакомство с ней? Нет, нет, никогда; только один раз столкнулся с ней на дороге, когда она проходила мимо. Что за лето здесь на севере! Майские жуки уже пропали, и люди становились для меня всё более и более непонятными, хотя солнце освещало их день и ночь. На что смотрели их голубые глаза, и что за мысли таились в их странных головах? Впрочем, мне не было никакого дела до них. Я брал свои лески и ловил рыбу два дня, четыре дня; но по ночам я лежал в хижине, не смыкая глаз…

— Четыре дня я не видал вас, Эдварда?

— Четыре дня, верно. Знаете, я была очень занята. Посмотрите.

Она повела меня в залу. Столы оттуда были вынесены, стулья расставлены по стенам, всё было перемещено; люстра, печь и стены были фантастически задрапированы вереском и черной материей из лавки. Рояль стоял в углу. Так

она готовилась к балу.

— Вам нравится? — спросила она.

— Чудесно, — отвечал я.

Мы вышли из комнаты.

Я сказал:

— Но послушайте Эдварда, вы совсем забыли меня?

— Я вас не понимаю, — отвечала она удивленно. — Разве вы не видите, сколько у меня было дел? Мне было некогда прийти к вам.

— Да, — отвечал я в свою очередь — может, вам действительно было некогда прийти ко мне.

Я не выспался и был измучен, говорил бессмысленно и бессвязно, я чувствовал себя несчастным весь день.

— Вот что я хотел сказать: одним словом, с вами произошла какая-то перемена, что-то случилось. Да. Но я не могу прочесть на вашем лице, что это такое. Какой у вас странный лоб, Эдварда! Я сейчас только заметил.

— Но я не забыла вас! — воскликнула она, краснея, и вдруг взяла меня под руку.

— Да, да, может, вы и не забыли меня. Но в таком случае я не понимаю, что происходит.

— Завтра вы получите приглашение. Вы должны со мной танцевать. Как мы потанцуем!

— Вы проводите меня? — спросил я.

— Сейчас? Нет, не могу, — отвечала она. — Скоро придет доктор, он поможет мне кой в чем, осталось еще немного. Да, вы находите, что и так сойдет? Но не думаете вы…

Перед домом остановился экипаж.

— Доктор приехал? — спросил я.

— Да, я послала за ним лошадь, я хотела… Пощадить его больную ногу, да.

— Нет, позвольте мне удалиться… Здравствуйте, здравствуйте, доктор. Рад вас опять видеть. Как всегда, здоровы и бодры? Надеюсь, вы извините, что я исчезаю.

На улице, у крыльца, я обернулся, Эдварда стояла в окне и смотрела мне в след; чтобы видеть, она раздвинула обеими руками гардины, выражение ее лица было задумчиво.

Непонятная радость стремительно овладела мной, я поспешно удалился от дома, не чуя под собой ног и видя всё как в тумане; ружье в моей руке казалось легким, как тросточка.

«Если бы она была моей, я бы изменился, я стал бы хорошим человеком», — думал я. Я достиг леса и продолжал мечтать:

«Если бы она была моей, я служил бы ей неустаннее, чем кто-либо другой, и если бы она

даже оказалась недостойной меня, если бы она вздумала требовать от меня невозможного, я всё бы сделал, что мог, да, больше чем мог, и радовался бы тому, что она моя…

Я остановился, встал на колени и, в порыве смирения и надежды, обратился к Богу с просьбой, чтобы он помог мне завоевать сердце Эдварды. Затем я встал и пошел дальше. Я чувствовал себя наконец почти уверенным.

Ея изменившееся за последнее время поведение было просто ее особенной манерой; она стояла и смотрела мне в след, когда я уходил, стояла в окне и провожала меня глазами, пока я не исчез, что большего она могла сделать? Мое восторженное настроение совершенно смутило меня, я был голоден, и даже не ощущал этого.

Эзоп побежал вперед, мгновение спустя он начал лаять. Я взглянул, женщина с белым платком на голове стояла возле угла хижины; то была Ева, дочь кузнеца.

— Здравствуй, Ева! — воскликнул я.

Она стояла у высокого серого камня, с румянцем на щеках, и прижимала к груди свою руку.

— Ева? Что тебе нужно? — спросил я.

— Эзоп меня укусил, — отвечала она и застенчиво потупила глаза.

Я посмотрел на ее палец. Догадка мелькнула у меня в голове: «Да ведь она сама себя укусила!». А вслух я спросил:

— Ты долго стояла здесь и ждала?

— Нет, недолго, отвечала она.

И прежде чем кто-нибудь из нас сказал еще слово, я взял ее за руку и провел в хижину.

XVII

Я пришел, как всегда, с рыбной ловли и явился на «бал» с ружьем и охотничьей сумкой, я только надел свою лучшую кожаную куртку. Было уже поздно, когда я подходил к Сирилунду; я слышал, что в доме танцевали; немного спустя раздались возгласы:

— Охотник пришел, лейтенант.

Несколько молодых людей окружили меня, прося показать мою добычу: я застрелил пару морских птиц и поймал несколько вохн. Эдварда встретила меня с приветливой улыбкой, она натанцевалась, лицо у нее раскраснелось.

— Первый танец со мной! — сказала она.

И мы стали танцевать. Мои большие сапоги производили много шума, я сам слышал этот шум и решил не танцевать больше, я даже поцарапал крашеный пол. Как я радовался, что не наделал еще чего-нибудь похуже!

Приказчики господина Мака были все на одно лицо и танцевали основательно и серьезно; доктор принимал горячее участие в их танцах. Кроме этих мужчин, было там еще четверо со-

вершенно молодых людей, сыновья первых лиц при главной церкви, пробста и окружного врача. С ними пришел также незнакомый торговый агент, он выделялся своим красивым голосом и напевал в такт с музыкой; временами он сменял дам у рояля.

Я уже не помню, как прошли первые часы, но я помню почти всё из последней части вечера. Багряное солнце светило всё время в окна, и морские птицы спали. Нас угощали вином и пирожками, мы громко говорили и пели, смех Эдварды весело и беззаботно раздавался по комнатам. Но почему она ни слова больше не говорила со мной? Я приблизился к тому месту, где она сидела, и хотел было сказать ей какую-нибудь любезность, какую я только мог; на ней было черное платье; это, может, было ее платье, сшитое для конфирмации, и оно стало слишком коротко, но оно всё равно очень шло ей, и мне хотелось сказать ей это.

— Как это черное платье… — начал я.

Но она встала, взяла за талию одну из своих подруг и ушла с ней. Это повторялось дважды. Прекрасно, думал я, что же с этим поделаешь? Но почему стоит она тогда у окна и грустно смотрит мне вслед, когда я ее покидаю?

Ну, довольно об этом!

Какая-то дама пригласила меня танцевать. Эдварда сидела по близости, и я громко ответил:

— Нет, я уже ухожу.

Эдварда бросила вопросительный взгляд на меня и сказала:

— Уходите? Ах, нет, вы не уйдете.

Я остолбенел и чувствовал, как закусил губы. Я встал.

— Мне кажется, Эдварда, что вы сказали это не спроста, — заметил я мрачно и сделал несколько шагов по направлению к двери.

Доктор встал у меня на пути, вскоре поспешно подошла сама Эдварда.

— Вы меня не поняли, — сказала она горячо. — Я хотела сказать, что вы уйдете, надеюсь, последним, самым последним. Да, кроме того, всего только час… Послушайте, — прибавила она, и глаза у нее заблестели, — вы дали нашему гребцу пять талеров за то, что он спас от потопления мой башмак. Это слишком высокая цена. — И она сердечно засмеялась и повернулась кругом, обращаясь ко всем.

Я стоял с открытым ртом, обезоруженный и сбитый с толку.

— Вам угодно шутить, — сказал я. — Я вовсе не

давал вашему гребцу никаких пяти талеров.

— Вот как, вы не давали? — Она открыла дверь в кухню и позвала парня. — Ты помнишь нашу поездку на Корхольмы, Яков? Ты ведь спас мой башмак, упавший в воду?

— Да, — отвечал Яков.

Ты получил пять талеров за то, что ты спас башмак?

— Да, вы мне дали…

— Хорошо. Можешь уходить.

«Чего она хочет доказать этой выходкой? — подумал я. — Пристыдить меня? Это ей не удастся, она не заставит меня покраснеть».

Я сказал громко и ясно:

— Я должен довести до всеобщего сведения, что это или недоразумение, или ложь. Мне никогда не приходило в голову давать гребцу за ваш башмак пять талеров; может, я должен был сделать это, но до сих пор этого не случилось.

— А теперь будем продолжать танцы, — сказала она, — как будто не слышала того, что я говорил. — Почему мы не танцуем?

«Она должна объясниться относительно этой ситуации», — сказал я сам себе.

И стал искать случая завязать с ней разговор.

Она ушла в соседнюю комнату, и я последовал

за ней.

— Ваше здоровье! — сказал я и хотел с ней чокнуться.

— Мой стакан пуст, — коротко отвечала она.

Хотя ее стакан стоял нетронутым перед ней.

— Я полагаю, что это ваш стакан?

— Нет, это не мой, — сказала она и с занятым видом повернулась к своему соседу.

— В таком случае извините, — сказал я.

Многие из гостей обратили внимание на эту выходку.

Сердце во мне заклокотало; и я сказал, задетый за живое:

— Но вы всё-таки обязаны объясниться.

Она встала, взяла меня за обе руки и сказала умоляющим голосом:

— Пожалуйста, не сегодня, не теперь. Мне так грустно. Боже, как вы на меня смотрите! А ведь когда-то мы были друзьями…

Окончательно сраженный, я развернулся и снова пошел к танцующим.

Немного спустя, пришла также и Эдварда, она села у рояля, за которым сидел торговый агент и играл какой-то танец, на ее лице в это мгновение выражалась затаенная печаль.

— Я никогда не училась играть, — сказала она и

посмотрела на меня потемневшим взором. — Ах, если бы я умела.

На это я ничего не мог ответить. Но мое сердце снова рвалось к ней, и я спросил:

— Почему это вдруг вы стали так печальны, Эдварда? Если бы вы знали, как я страдаю от этого.

— Не знаю, почему, — отвечала та. — Быть может, от всего, вместе взятого. Ах, если бы эти люди сейчас же все ушли, все один за другим. Нет, не вы; помните, вы должны быть последним.

И снова я ожил при этих словах, и мои глаза заметили свет в наполненной солнцем комнате. Дочь пробста подошла ко мне и стала со мной разговаривать, мне хотелось, чтоб она была далеко, далеко от меня, и я отвечал ей односложно. Я нарочно не смотрел на нее, так как это она говорила о моем зверином взгляде.

Она обратилась к Эдварде и стала ей рассказывать, как однажды за границей — думаю, это было в Риге, — ее преследовал на улице какой-то господин.

— Он шел сзади меня несколько кварталов и улыбался мне, — говорила она.

— Возможно он был слеп? — воскликнул я, чтобы доставить удовольствие Эдварде. Молодая дама сразу поняла мой грубый намек и отвечала:

— Да, конечно, это должно было быть так, раз он вздумал преследовать такую старую и отвратительную особу, как я.

Но я не добился от Эдварды благодарности, она увлекла подругу с собой, они шептались и качали головами. С этого мгновения я был снова предоставлен самому себе. Прошел еще час, морские птицы стали просыпаться там, на шхерах; их крик доносился к нам через открытые окна. Порыв радости пронесся во мне, когда я услышал эти первые птичьи крики, и меня потянуло туда, к шхерам…

Доктор снова пришел в хорошее настроение и обращал на себя всеобщее внимание; дамы всё время вертелись около него.

«Это он что ли мой соперник?» — подумал я, и подумал также об его хромой ноге и о всей его жалкой фигуре.

У него появилось новое остроумное выражение, он говорил: «смерть, возьми!». И всякий раз, как он употреблял это странное проклятие, я громко смеялся. Среди моих душевных терзаний мне вздумалось продемонстрировать благосклонное отношение к этому человеку только потому, что он был моим соперником. Доктор постоянно был у меня на первом плане, я кричал: «Слушайте же,

что говорит доктор!». И заставлял себя громко смеяться его глупым историям.

— Я люблю этот мир, — говорил доктор, — я цепляюсь руками и ногами за жизнь. И когда я, наконец, умру, надеюсь получить место в вечности, как раз над Лондоном или Парижем, чтобы можно было всё время, всё время слышать шум людского канкана.

— Великолепно! — воскликнул я и закашлялся от смеха.

Эдварда также, казалось, пришла в восторг от этого намерения доктора.

Когда гости начали уходить, я спрятался в соседней маленькой комнате и стал ждать. До меня долетало с лестницы одно за другим: «до свидания!».

Доктор также простился и ушел. Немного спустя замерли все голоса.

Сердце у меня сильно билось в ожидании.

Эдварда вернулась назад. Увидев меня, она остановилась, изумленная, на одно мгновение, затем сказала, смеясь:

— Ах да, вы здесь! С вашей стороны было очень мило остаться до самого конца. А я смертельно устала.

Я ответил:

— Да, теперь вам нужно отдохнуть. Надеюсь, Эдварда, ваше дурное расположение духа прошло. Вы незадолго перед тем были так печальны, и это мучило меня.

— Всё пройдет, когда я посплю.

Мне больше было нечего прибавить; и я направился к выходу.

— Да, благодарю за сегодняшний вечер, — сказала она и протянула руку.

И когда она захотела проводить также и меня в переднюю, я пытался протестовать. — Не стоит, — сказал я, — не беспокойтесь, я прекрасно справлюсь сам.

Но она всё-таки проводила меня.

Она стояла в передней и терпеливо дожидалась, пока я найду свою фуражку, ружье и сумку. В углу стояла трость, я тотчас ее заметил, когда я повнимательнее всмотрелся в нее, то поняла, что это была трость доктора. Когда она заметила направление моего взгляда, она покраснела от смущения.

Прошло не меньше минуты. Наконец, бешеное нетерпение овладело ею, и она сказала, вся дрожа:

— Не забудьте вашу трость.

И подала мне трость доктора.

Я ответил ей:

— Вы прекрасно знаете, что это трость доктора. Не могу себе представить, как это хромой человек мог забыть ее.

— Послушайте, прекратите вы с вашим хромым человеком! — воскликнула она с горечью и сделала еще шаг по направлению ко мне. — Вы не хромаете, нет, но если бы вы и хромали, то вам бы за ним никогда не угнаться.

Я промолчал и с глубоким поклоном вышел прочь.

— Да-а, он забыл трость, — думал я, — и он обязательно вернется за ней этой дорогой.

Я шел по дороге совсем медленно, пытливо вглядываясь перед собой на опушке леса я остановился. Наконец, после получасового ожидания, показался доктор, который шел по направлению ко мне; он заметил меня и ускорил шаг.

Я подошел прямо к нему.

Он отступил на шаг назад и уставился на меня:

— Что вам нужно? — спросил он. — Что вы тут делаете?

Я молчал.

— Да, впрочем, мне совершенно безразлично, что вы здесь забыли, — продолжал он, бледнея. — Я шел за своей тростью, которую забыл.

Я молча продолжал смотреть на него.

Вдруг он посмотрел на меня пронзительным взглядом, усмехаясь, и сказал:

— Зачем собственно вы всё это делаете?

Я не отвечал; но его слова подействовали на меня.

Он протянул мне руку и сказал глухим голосом:

— С вами что-то неладно. Если вы скажете мне, что именно, то может…

Стыд и отчаяние овладели мной, эти спокойные слова заставили меня потерять равновесие.

— Простите, слышите вы! Нет, что же со мной может быть неладного? Всё обстоит благополучно, я не нуждаюсь в вашей помощи. Вы ищете, может быть, Эдварду? Вы найдете ее дома. Но торопитесь, иначе она ляжет спать, прежде чем вы придете; она так устала, я сам это видел.

И я повернулся и поспешил прочь от него, буквально помчался широкими шагами через лес, домой, к хижине.

Некоторое время просидел я на своих нарах совершенно в том же самом виде, как вошел, с сумкой через плечо и ружьем в руках. Странные мысли возникали у меня в голове. Зачем это, однако, я выдал себя перед доктором! Мне было

досадно, что смотрел на него со слезами на глазах; он порадуется этому, думал я; быть может, он сидит теперь и хихикает по этому поводу вместе с Эдвардой. Он оставил свою трость в передней. Неправда ли, если бы я в довершение всего хромал, то я не мог бы угнаться за доктором, ни в каком случае не мог бы за ним угнаться, это были ее собственные слова…

Я встал посреди хижины, поднял курок у ружья, приставил дуло к своей левой ноге и выстрелил.

Эзоп издал короткий испуганный лай.

Немного спустя, послышался стук в дверь. Это пришел доктор.

— Простите, если я вас потревожил, — начал он. — Вы так поспешно удалились, я думал, будет нелишним немножко нам поговорить друг с другом. Мне кажется, здесь пахнет порохом?

Он был совершенно трезв.

— Отыскали свою трость? — спросил я.

— Да, но Эдварду я не видел, она уже легла… Что тут такое? Но, Боже мой, у вас идет кровь?

— Сущие пустяки. Я хотел было поставить ружье, а оно выстрелило; это ничего не значить. Черт вас возьми, почему это я обязан давать вам объяснения?

Он уставился неподвижно на мой простре-

ленный сапог и на текущую кровь. Быстрым движением он опустил трость и снял перчатки.

— Сидите спокойно, нужно снять сапог, — сказал он. — Так это правда, мне показалось, я слышал выстрел.

XVIII

Как я потом раскаивался в этом безумном выстреле. Всё это, вместе взятое, не стоило того, ни чему не помогло и лишь привязало меня только к хижине на много недель. Во время одного из своих визитов, доктор заговорил об Эдварде. Я слышал ее имя, слышал, что она сказала, что сделала, и это не имело уже для меня какого-нибудь особенного значения; как будто говорили о чем-то далеком, совершенно постороннем.

«Как скоро всё забывается!» — думал я с удивлением.

— Ну, а что вы сами думаете об Эдварде, позвольте вас спросить?

— Правду сказать, я не думал о ней уже много недель.

— Постойте, мне представляется, что что-то было между вами, вы так часто бывали вместе, вы были во время прогулки на острове всё время рядом. Но, если вы не хотите, не отвечайте, вы нисколько не обязаны давать мне объяснения, если вам угодно давайте поговорим о чем-нибудь другом.

— Как быстро моя нога заживет, и я начну ходить?

Оставшись один, я продолжал думать о том, что я сказал. Почему я в глубине души боялся дать доктору прямой ответ? Какое мне было дело до Эдварды? Я давно забыл о ней.

Позже, еще как-то раз зашел разговор про Эдварду, и я опять прервал доктора. Бог знает, что я боялся услышать.

— Зачем вы меня прерываете? — спросил он. — Или для вас совершенно невыносимо слышать ее имя от меня?

— Скажите мне, — спросил я: какое ваше собственное мнение о Эдварде? Мне это интересно знать.

Он посмотрел недоверчиво на меня.

— Мое собственное мнение?

— Вы, может быть хотите сообщить мне новости; быть может вы сделали предложение и получили согласие? Могу вас поздравить? Нет? Ну, кто бы мог подумать.

— Так вот чего вы боялись!

— Боялся, милейший доктор?

— Нет, я не делал предложения и не получал согласия, — сказал он: может быть, с вами это случится. Эдварду не сосватаешь, она сама выбирает,

кого ей вздумается. Вы думаете, это деревенская девушка? Вы встретились с ней здесь на далеком севере Норвегии и сами могли убедиться, что это не так. Сам отец не может сладить с ней; она как будто повинуется ему, но в действительности сама им помыкает. Она говорит, что у вас звериный взгляд.

— Вы ошибаетесь, это кто-то другой говорил, что у меня звериный взгляд.

— Другой? Кто же другой?

— Я этого не знаю. Одна из ее подруг. Нет, это не Эдварда говорила. Впрочем, погодите; может быть, действительно, это и Эдварда…

— Когда вы смотрите на нее, это производит на нее какое-то гипнотическое действие, так говорила она. Но вы думаете, станете вы от этого хоть на волосок ближе к ней? Едва ли. Смотрите только на нее, не щадите своих глаз; но стоить лишь ей заметить, что она для вас не существует, она скажет самой себе: вон там стоит теперь этот человек, смотрит на меня и думает, что выиграл игру! И одним взглядом или холодным словом она удалить вас за версту. Вы думаете, я ее не знаю! Ну, сколько ей, по-вашему, лет?

— Она родилась в тридцать восьмом?

— Неправда. Я ради шутки справился об этом.

Ей двадцать лет, хотя, впрочем, она прекрасно могла бы сойти за пятнадцатилетнюю. Нельзя сказать, чтобы она была счастлива; в ее маленькой головке происходит вечная борьба. Когда она стоит и смотрит на горы и на море, и около ее губ образуются страдальческие складки, тогда она несчастна; но она слишком горда и упряма, чтобы плакать. Она довольно-таки сумасбродна, но у нее пылкая фантазия и она ждет принца. Что это была за история с пресловутыми пятью талерами, которые вы должны были дать на чай?

— Просто шутка. Это пустяки…

— Это также имело свое значение. Она проделала нечто подобное раз и со мной. Тому уже с год. Мы были на палубе почтового парохода, когда он стоял здесь. Шел дождь и было холодно. Какая-то женщина с маленьким ребенком сидела на палубе. Эдварда спросила у нее: «Вы не замерзли?» Женщина ответила, что замерзла. «Почему же вы не спуститесь в каюту?» — спросила Эдварда. «У меня место на палубе», — ответила женщина. Эдварда посмотрела на меня. — У женщины место только на палубе, — сказала она. — Что же тут поделаешь? — ответил я про себя, но я понял взгляд Эдварды. Я не родился богатым человеком, я вышел в люди из нищеты и веду счет деньгам,

которые трачу.

Я отошел от женщины и подумал: «Если нужно за нее заплатить, пусть платит сама Эдварда, у нее и у ее отца состояние побольше моего».

И Эдварда преспокойно заплатила сама. В этом отношении она великодушна; никто не скажет, что у нее нет сердца. Но так верно, как я вот здесь сижу, она ждала, что я заплачу за место в каюте для женщины и ребенка, я видел это по ее глазам. Так что же дальше? Женщина встала и поблагодарила за такую значительную помощь.

— Не меня благодари, а вон того господина, — ответила Эдварда и преспокойно показала на меня.

Как вам такое? Слышу, женщина благодарит также меня, а я ничего не могу на это ответить, я должен оставить это так, как есть.

Вы видите, это один маленький эпизод, но я мог бы рассказать о многих других. А что касается этих пяти талеров гребцу, так она сама дала парню эти деньги. Если бы вы это сделали, она бросилась бы вам на шею; вы оказались бы знатной особой за то, что выкинули такую плоскую несуразную штуку из-за стоптанного башмака; это было бы в ее духе, она раньше мечтала об этом. А так как вы этого не сделали, она это сдела-

ла сама от вашего имени. Вот она какая, вздорная и расчетливая одновременно.

— Неужели никто не может совладать с нею? — спросил я.

— Ее следовало бы воспитывать строже, — отвечал доктор уклончиво. — Очень скверно, что ей постоянно предоставляют свободу действий; она может делать всё, что ей угодно, и одерживать столько побед, сколько ей захочется. Ею заняты, к ней не выказывают равнодушия; всегда есть кто-нибудь под рукой, на ком она может испытать свои чары. Обратили вы внимание на то, как я с ней обращаюсь? Как со школьницей, как с маленькой девочкой, я руковожу ею, исправляю ее речь, прислушиваюсь к ней и ставлю ее в затруднительные положения. Вы думаете, она не понимает этого? Ах, она горда и упряма, это всегда задевает ее за живое; но она также слишком горда для того, чтобы признать это. Но так ей и надо. Когда вы явились, я уже целый год держал ее в руках, влияние начало сказываться, она плакала от боли и досады, она стала сравнительно сносным человеком. Но вот явились вы, и всё было уничтожено. Так и будет продолжаться бесконечно: один оставляет ее, другой берет ее снова; за вами придет, вероятно, третий, кто знает.

«Ого, у доктора есть повод для мести», — подумал я и сказал:

— Скажите мне еще, доктор, зачем вы рассказали мне всё это?

— В довершение всего, она пламенна, как вулкан, — продолжал он, не обращая внимания на мой вопрос. — Вы спрашивали, неужели никто не может совладать с нею. Конечно, может, почему же нет? Она ждет своего принца, но он еще не явился; она всё разочаровывается, она думала, что вы принц, в особенности благодаря вашему звериному взгляду, ха-ха. Послушайте, лейтенант, вам во всяком случае следовало бы захватить с собой мундир, он сделал бы свое дело теперь. Я видел, как она ломала руки в ожидании того, кто должен был прийти и взять ее, увезти ее отсюда, властвовать над ее телом и душой. Да. Но он должен явиться извне, вынырнуть в один прекрасный день, как совершенно особенное существо. У меня есть предчувствие, что господин Мак путешествует не просто так, за этим что-то кроется. Как-то уже и раньше господин Мак отправлялся в путешествие, и когда он вернулся, его сопровождал какой-то господин.

— Его сопровождал господин?

— Но, увы, он тоже не подошел, — сказал доктор

с горькой усмешкой. Это был человек моих лет, он хромал так же, как я. То был не принц.

— А куда он уехал? — спросил я и пристально посмотрел на доктора.

— Куда он уехал? Отсюда? Этого не знаю, — отвечал он, смутившись. — Ну, мы слишком заболтались. Через неделю ваша нога заживет, и вы начнете ходить. До свиданья.

XIX

Я слышу женский голос за дверью хижины, кровь бросается мне в голову, это голос Эдварды.

— Глан, Глан, слышу я, — он что болен?

И моя прачка отвечает за дверью:

— Он почти выздоровел.

Этот «Глан, Глан», потряс меня до мозга костей, она повторила мое имя дважды, это подействовало на меня, ее голос был ясный и взволнованный.

Она открыла дверь, не постучав, поспешно вошла и взглянула на меня. Вдруг я почувствовал себя, как в былые дни; на ней была ее перекрашенная кофточка, и фартук был у нее завязан немного ниже на животе для того, чтобы талия казалась длиннее. Я тотчас всё заметил; и ее взгляд, ее смуглое лицо с бровями, высоко изогнутыми на лбу. Всё это с такой силой ворвалось в меня и так меня смутило.

«Я ее целовал!» — подумал я.

Я встал.

— Вы уже можете вставать, — сказала она. — Лучше сядьте, у вас болит нога, вы выстрелили

в себя, Боже мой, как это случилось? Я только сегодня узнала об этом. Я думала всё время: где это пропадает Глан? Он больше совсем не приходит. Я ни о чем не знала. Вы выстрелили в себя, много недель тому назад, и я не слышала ни слова об этом. Как вы теперь? Вы поразительно бледны, я не узнаю вас. А нога? Доктор говорит, что вы не будете хромать. Как искренне я рада за вас. Надеюсь, вы извините, что я пришла сюда, недолго думая, я не шла, а бежала…

Она наклонилась ко мне, она была так близко от меня, что я чувствовал ее дыхание на своем лице, я протянул к ней руки. Тогда она отодвинулась. Ее глаза еще блестели от слез.

— Вот как это случилось, — бормотал я. — Я хотел поставить ружье сюда, в угол; я неловко взял его, так вот, дулом вниз; и вот я вдруг слышу выстрел. Несчастный случай.

— Несчастный случай, — сказала она в раздумье и кивнула головой. — Позвольте мне посмотреть, ведь это левая нога, но почему именно левая? Да, это была случайность…

— Да, случайность, — прервал я. — Как я могу знать, почему оказалась именно левая нога? Сами видите, я вот так держал ружье, так что ни в коем случае не могла оказаться простреленной правая

нога. Да, это было не особенно-то приятно.

Она задумчиво посмотрела на меня.

— Хорошо, что вы идете на поправку, — сказала она и осмотрелась кругом в хижине. — Почему вы не посылали вашу помощницу к нам за едой? Чем же вы жили?

Мы поговорили еще несколько минут. Я спросил ее:

— Когда вы пришли, ваше лицо было оживлено и глаза блестели, вы протянули мне руку. Теперь опять в ваших глазах равнодушие. Я не ошибаюсь?

— Нельзя всегда быть одинаковой…

— Скажите мне что сейчас я сказал или сделал неприятного для вас. Это, быть может, послужить мне руководством в будущем.

Она смотрела в окно, на далекий горизонт, и отвечала мне, стоя ко мне спиной:

— Ничего, Глан. Мало ли что иногда придет в голову. Вы сегодня не в духе? Помните, иные дают мало, и это много для них, другие отдают всё, и это не стоит им никаких усилий; так кто же дал больше? Вы стали так грустны во время вашей болезни. По какому это случаю мы завели этот разговор? Ну, выздоравливайте поскорее. Мы скоро увидимся снова.

С этими словами она протянула мне руку.

И тут мне пришло в голову не подавать ей руки.

Я встал, сложил руки за спиной и глубоко поклонился; так я хотел поблагодарить ее за любезное посещение.

— Извините, что я не могу проводить вас, — сказал я.

Когда она ушла, я уселся, чтобы еще раз обдумать всё произошедшее. Я написал письмо, в котором требовал, чтобы мне выслали мундир.

XX

Первый день в лесу. Я был уставший, но очень счастливый.

«Добро пожаловать! — думал я. — Мой милый лес, мое жилище, божья благодать».

Я то и дело останавливался, поворачивался во все стороны и со слезами на глазах называл по имени птиц, деревья, камни, траву и муравьев. Около полудня я выплыл в море, пристал к маленькому островку, к какой-то скале, перед входом в гавань. Там росли лиловые цветы с длинными стеблями, достигавшими мне до колен, я бродил среди странных растений, кустов малины, шероховатого волосенца; там не было никаких животных, и, быть может, человек там даже никогда не бывал. Море нежно пенилось у берега и окутывало меня пеленою шума; далеко в открытом море с криками летали всевозможные прибрежные птицы. Море окружало меня со всех сторон, словно обнимая. Благословенны будьте жизнь, земля и небо, благословенны будьте мои враги, я был бы в этот миг милостив со своим злейшим врагом и завязал бы ему ремень у его

обуви… Громкая матросская песня донеслась до меня с одной из яхт господина Мака, и всё внутри меня наполнилось солнечным блеском при этих знакомых звуках. Я погреб к пристани, прошел мимо хижин рыбаков и отправился домой. День прошел, я принялся за ужин, разделив свою трапезу с Эзопом. Затем усталость овладела мной, и я заснул.

Динь, динь! Что это — колокольчики звенят? Несколько миль дальше в море стоит гора. Я творю две молитвы, одну за собаку и другую за себя самого, и мы входим внутрь горы. Ворота запираются за нами, я вздрагиваю и просыпаюсь.

Огненно-красное небо, солнце стоит и попирает землю перед моими глазами; ночь; горизонт дрожит от света. Эзоп и я входим в тень. Кругом тихо. Нет, нам не хочется больше спать, говорю я Эзопу, мы пойдем на охоту сегодня утром, красное солнце светит нам, мы не внутри горы… Взволнованный, но всё еще слабый, я чувствую, что кто-то целует меня. Я осматриваюсь, никого нет. Что-то зашуршало в траве; быть может, это лист упал на землю; быть может, это чьи-то шаги.

Какой-то трепет проносится по лесу; может, это дыхание Изелины, думаю я. В этих лесах бродила Изелина, здесь она отвечала на мольбы охотни-

ков в желтых сапогах и зеленых мантиях. Она жила в своей усадьбе, полмили отсюда; она сидела у своего окна, и слушала, как со всех сторон из леса раздавались звуки охотничьего рога. Здесь водились олени, волки, медведи; было много охотников, и она росла у них на глазах, и каждый из них дожидался встречи с ней. Один видел ее глаза, другой слышал ее голос. А один дерзкий юноша просверлил отверстие в стене комнаты Изелины, и ему удалось увидеть ее белый бархатистый живот. Когда ей исполнился двенадцатый год, пришел Дундас. Он был шотландец, торговал рыбой и владел множеством кораблей. У него был один сын. Когда Изелине исполнилось шестнадцать лет, она в первый раз увидела молодого Дундаса. Он стал ее первой любовью…

И такие мысли овладели мной, голова у меня стала тяжелой, я закрыл глаза и снова почувствовал поцелуй Изелины.

— Изелина, ты здесь, возлюбленная моя? — говорю я, — и Дидерик стоит вместе с тобой деревом?… Но голова тяжелеет всё больше, и больше, и я плыву по волнам сна.

Динь, Динь! Слышится чей-то голос. Это Изелина:

— Спи, спи! Я расскажу тебе о моей любви, пока

ты спишь, я расскажу тебе о моей первой ночи. Мне помнится, я забыла запереть у себя дверь; мне было шестнадцать лет, было весеннее время и дул теплый ветер. Дундас явился неожиданно. Я встретила его утром, перед тем, как ему идти на охоту; ему было двадцать пять лет, и он вернулся из дальних странствий, он гулял рядом со мной по саду, и когда он коснулся меня своей рукой, я полюбила его. У него на лбу появились два красных пятна, и мне хотелось поцеловать эти пятна. Вечером, когда настало время ему вернуться с охоты, я искала его в саду, и так я боялась, что вдруг опять увижу его! Я потихоньку называла его имя, а сама боялась, что вдруг он услышит! И вот он вышел из-за кустов и прошептал: сегодня ночью, в час!

Затем он исчез.

Сегодня ночью, в час, повторила я самой себе, что он хотел этим сказать? Я ничего не понимаю. Он, наверное, хотел сказать, что он должен уехать сегодня ночью, в час; но какое мне дело до того, что он уезжает. Так-то вот я забыла запереть у себя дверь…

Ровно в час он вошел.

— Я что забыла запереть дверь? — спросила я.

— Я запру, — ответил он.

Я так боялась шума его огромных сапог.

Смотри, не разбуди никого! — сказала я.

Я также боялась за скрипучий стул, и я сказала: нет, нет, не садись, на стул, он скрипит!

— Так мне сесть к тебе на постель? спросил он.

— Да, сказала я.

Но это я сказала потому только, что стул скрипел.

Мы уселись на моей постели. Я отодвинулась, он подвинулся ко мне. Я посмотрела вниз.

— Ты озябла, — сказал он и взял меня за руку.

Немного спустя он сказал:

— Как ты озябла!

И обнял меня.

Мне стало тепло от его рук. Мы посидели так немножко.

Прокукарекал петух.

— Ты слышала, — сказал он, — петух кукарекает, уже скоро утро.

И он сильнее сжал меня, и у меня захватило дух.

Я снова увидела два лихорадочно-красных пятна у него на лбу, и я хотела встать. Но он посадил меня опять, я поцеловала два милых пятна и закрыла глаза.

И вот наступил день, было уже утро. Я просну-

лась и не узнавала стен у себя в комнате, я встала и не узнавала своих собственных маленьких башмаков, что-то изменилось во мне. Я ничего не помнила кроме того, что я забыла запереть у себя дверь. Пришла моя тетушка.

— Ты не полила цветы, — сказала она.

— Я забыла про цветы.

— Ты измяла свое платье, — продолжала она.

— Как это я могла измять платье? — подумала я.

К калитке подъехал экипаж.

— И ты не накормила свою кошку.

Но я забыла про свои цветы, про платье и про кошку и спросила:

— Что это Дундас остановился у дома? Попроси его прийти ко мне тотчас же, я его жду, что такое… что такое…

И я подумала про себя: интересно запрет он опять дверь на ключ, когда придет?

Он постучал.

Я открыла ему, и сама заперла дверь на ключ, чтобы оказать ему маленькую услугу.

— Изелина! — воскликнул он и поцеловал меня в губы.

— Я не посылала за тобой, — шепотом проговорила я.

— Не посылала? — переспросил он.

У меня опять захватило дух, и я ответила:

— Нет, я посылала за тобой, мне так ужасно опять захотелось увидеть тебя. Побудь немножко здесь.

И я закрыла глаза.

Он не выпускал меня из объятий, я опустилась и спряталась у него на груди.

— Мне кажется, опять поют петухи? — сказал он и стал прислушиваться.

Но я прервала его как можно скорее и ответила:

— Нет, как ты мог подумать, что опять кукарекают петухи.

Он поцеловал меня в грудь.

— Это только курица закудахтала, — сказала я в последнее мгновение.

— Подожди немножко, я запру дверь, — сказал он и хотел встать.

Я удержала его и прошептала:

— Она заперта…

И вот снова наступил вечер, и Дундас уехал. Точно какое-то золото струилось во мне. Я стала перед зеркалом, и два влюбленных глаза смотрели прямо на меня; что-то шевельнулось во мне при моем взгляде, и струйки, струйки забегали

вокруг моего сердца. Боже мой, я никогда не смотрела на саму себя такими глазами, и я поцеловала свои собственные губы в зеркале…

Но вот я рассказала тебе о моей первой ночи, и о дне, и о вечере после нее. Как-нибудь в другой раз я расскажу тебе об охотнике Херлуфсене. Его я также любила, он жил в миле отсюда, на острове, вон видишь там, и я сама приплывала к нему в тихие летние ночи. Я расскажу тебе также и о Стамере. Он был священником, я любила его. Я люблю всех.

Сквозь сон я слышу кукареканье петуха.

— Ты слышала, Изелина, и нам также пропел петух! — радостно восклицаю я и протягиваю руки. Я просыпаюсь.

Эзоп уже на ногах.

— Прочь! — говорю я в жгучей тревоге и осматриваюсь кругом; здесь нет никого, никого нет здесь!

Разгоряченный и в сильном возбуждении, я иду домой. У хижины стоит женщина, это Ева. У ней вязка в руках, и ей нужно в лес, за дровами. Утро жизни отражается на молодой девушке, грудь у нее вздымается, солнце золотит ее.

— Вы не поверите… — лепечет она.

— Чему я не поверю, Ева?

— Я пришла сюда вовсе не затем, чтобы с вами встретиться, я просто шла мимо…

И ее лицо вспыхивает от румянца.

XXI

Нога всё еще немного беспокоила и мучила меня, часто ночью она начинала зудеть и не давала мне спать, иногда в ней стреляло, и к перемене погоды в ней поднималась ломота. Это продолжалось долгое время.

Дни шли. Господин Мак вернулся, и мне тотчас же пришлось узнать об этом. Он забрал у меня лодку, поставив меня в очень затруднительное положение, так как время охоты еще не наступило, а рыбачить без лодки я не мог.

Я встретил доктора.

— У меня забрали лодку, — пожаловался я ему.

— К господину Маку приехал гость, — сказал он. — Его приходится каждый день возить на море, а вечером доставлять обратно домой. Он исследует морское дно. Гость был из Финляндии, господин Мак встретился с ним случайно, на корабле, он приехал с Шпицбергена с коллекциями раковин и маленьких морских животных. Его называли бароном и предоставили в доме господина Мака сразу две комнаты.

«У меня мало еды, и я мог бы попросить Эдварду

дать мне немного поесть сегодня вечером» — подумал я.

Я отправился в Сирилунд и тотчас же заметил, что Эдварда надела новое платье; которое, впрочем, было ей слишком длинно.

— Извините, что я сижу, — коротко сказала она и протянула мне руку.

— Да, к несчастью, моя дочь не совсем здорова, — сказал господин Мак. — Простудилась, из-за собственной неосторожности… Вы вероятно пришли, чтобы справиться относительно вашей лодки? Я вынужден одолжить вам другую, маленькую; она не совсем новая, но если вы будете аккуратны… Да, ведь у нас в доме теперь ученый, и вы должны понять, что такого рода человек… У него решительно нет свободного времени, он работает целый день и возвращается домой к вечеру. Подождите до его прихода, вам будет интересно познакомиться с ним. Вот его карточка, видите: корона, барон. Достойный уважения человек. Я встретился с ним совершенно случайно.

«Вот как, — подумал я, — тебя не оставляют ужинать. Слава Богу, у меня есть еще в хижине немножко рыбы. Что-нибудь да найдется для ужина».

Явился барон. Это был мужчина невысокого

роста, лет под сорок; длинное худое лицо с выдающимися скулами и жиденькой, черной бородкой. Взгляд у него был острый и пронзительный, он носил сильные очки. На запонках у него точно так же, как и на карточке, были короны с пятью зубцами. Он был немного сутуловат, и на его исхудалых руках виднелись голубые жилы; а ногти у него было словно из жёлтого металла.

— Очень приятно, господин лейтенант. Вы уже давно здесь?

— Несколько месяцев.

Господин Мак начал разговор о раковинах и морских животных, и барон охотно его поддержал, давая пояснения относительно сортов глины из окрестностей Корхольмов. Потом он принес и продемонстрировал нам образец водорослей из Белого моря.

Во время разговора он постоянно оттопыривал указательный палец правой руки и передвигал массивные золотые очки с одного конца носа на другой. Господин Мак был заинтересован в высшей степени. Прошел час. Барон завел разговор про случившуюся со мной неприятность, про этот несчастный выстрел.

— Я уже выздоровел? В самом деле? Он очень рад.

«Кто это рассказал ему про мой несчастный случай? — подумал я».

И спросил:

— От кого это вы, барон, слышали про мое несчастье?

— От… да, от кого же?! От фрекен Мак, кажется. Не правда ли, фрекен Мак? Эдварда вспыхнула, как огонь.

Я не смотрел на нее, но подумал: «Благодарю тебя, что ты хотя бы поговорила обо мне, называла мое имя, хотя оно для тебя навеки потеряло всякое значение».

Я простился.

Эдварда и теперь продолжала сидеть, из вежливости извиняясь своим нездоровьем. Равнодушно она подала мне руку.

А господин Мак стоял, занятый горячим разговором с бароном. Он говорил о своем покойном отце, консуле Маке:

— Не знаю, рассказывал ли я вам, барон, но вот эту застежку Карл Иоган собственными руками застегнул на груди моего покойного отца.

Я спустился по лестнице, никто не проводил меня. Я бросил мельком взгляд в окно залы, там стояла Эдварда, выпрямившись во весь рост; она раздвинула обеими руками гардины и смотрела

в окно. Мне не пришло в голову поклониться, я всё забыл, замешательство, как волна, овладело мной и быстро понесло меня оттуда.

«Стой, остановись на минутку! — сказал я самому себе, достигнув леса. — Боже мой, когда же всё это кончится!»

Меня вдруг бросило в жар от бешенства, и я застонал. Ах, у меня в груди не оставалось больше никакого чувства чести, я пользовался благосклонностью Эдварды самое большее с неделю, теперь всё это уже давным-давно прошло, а я никак не мог примириться с этим. Отныне мое сердце должно было бы взывать к ней: пыль, воздух, земля на моей дороге, клянусь Всевышним…

Я добрался до хижины, разыскал свою рыбу и стал ужинать.

«Ты вот бродишь здесь и прожигаешь свою жизнь из-за какой-то ничтожной школьницы, и твои ночи полны диких сновидений. И удушливый ветер застыл вокруг головы твоей, пахучий старый ветер. А небо трепещет чудесной синевой, и горы зовут. Сюда, Эзоп! Идем!»

XXII

Прошла неделя. Я нанял лодку у кузнеца и ловил себе для еды рыбу. Эдварда и гостивший у них барон всегда бывали вместе по вечерам, когда тот возвращался домой с моря, однажды я видел их у мельницы. Раз вечером они оба прошли мимо моей хижины, я отодвинулся от окна и на всякий случай потихоньку запер дверь.

На меня не произвело решительно никакого впечатления то, что они были вместе; я пожал плечами. В другой раз вечером я встретил их на дороге, и мы поклонились друг другу. Я медленно прошел мимо и равнодушно посмотрел на них.

Прошел еще день.

Сколько их тут прошло этих длинных дней! Подавленное состояние духа владело мной, мое сердце безмолвно думало о различных вещах, даже дружелюбный серый камень около моей хижины стоял, как будто выражая страдание и отчаяние, когда я проходил мимо. Собирался дождь, в воздухе парило и, куда ни повернешься, отовсюду тебя обдавало горячим дыханием; у меня ломило левую ногу; я видел, как утром

металась в оглоблях одна из лошадей господина Мака; всё это имело для меня особое значение. «Хорошо было бы запастись едой, пока хорошая погода, — подумал я.»

Я привязал Эзопа, взял свои рыболовные снасти и ружье и отправился к пристани. Я чувствовал себя необыкновенно угнетенным.

— Когда придет почтовый пароход? — спросил я рыбака.

— Почтовый пароход? Он придет недели через три, — отвечал тот.

— Я жду свой мундир, — сказал я.

Потом я встретил одного из приказчиков господина Мака.

Я взял его за руку и сказал:

— Скажите мне, ради Бога, что это вы больше совсем не играете в вист в Сирилунде?

— О, нет, часто, — ответил он.

— Я всё никак не мог собраться туда в последнее время, — сказал я.

Я поплыл к своему привычному месту рыбной ловли. В воздухе было душно, комары собирались стаями, и я должен был для предохранения от них всё время курить. Треска клевала, я ловил на удочку с двумя крючками, улов был прекрасный. На обратном пути я застрелил двух гагарок.

Когда я достиг пристани, там стоял кузнец. Он был занят работой. У меня мелькнула мысль, и я спросил его:

— Вы не могли бы помочь донести мою добычу до дома?

— Нет, — отвечает он. — Господин Мак дал мне работы до самой ночи.

Я взял с собой свой улов и пошел, направив свой путь мимо дома кузнеца.

Ева была дома одна.

— Как страстно я тосковал по тебе! — сказал я, обращаясь к ней.

Я был взволнован при виде ее, а она едва могла смотреть на меня от удивления.

— Я люблю твою юность и твои добрые глаза — сказал я. — Послушай, я пришел к тебе, чтобы только на тебя посмотреть, мне так хорошо с тобой, ты так мне дорога. Ты слышала, как я звал тебя сегодня ночью?

— Нет, — отвечала она в ужасе.

— Я звал Эдварду, но я подразумевал тебя. Я проснулся от этого. Да, я подразумевал тебя, мне можно простить, я оговорился, если я звал Эдварду. Но не будем больше о ней говорить. Боже, какая ты милая, Ева! У тебя сегодня такие красные губы. У тебя ноги красивее, чем у Эдвар-

ды, посмотри сама. — Я поднял у ней платье и показал ей ее ноги. Радость, какой я еще никогда не замечал у нее, промелькнула по ее лицу: она хотела отвернуться, но вместо этого одной рукой обвила мне шею.

Время летело незаметно. Мы разговаривали друг с другом о множестве вещей. Я говорил:

— Поверишь ли, Эдварда не научилась еще до сих пор грамотно говорить, она разговаривает словно маленький ребенок. Как ты считаешь, у нее красивый лоб? Мне кажется вовсе нет. И вообще она слишком смуглая. И не моет руки.

— Ведь мы не хотели было больше о ней говорить?

— В самом деле. Я совсем забыл.

Прошло еще немного времени. Я о чем-то задумался и умолк.

— Почему у тебя на глазах показались слезы, — спросила Ева.

— У нее и правда красивый лоб, — говорю я — и руки всегда чистые. Это случайно как-то раз они у нее были грязные. Я это только и хотел сказать. — Но вот я продолжал с жаром и стиснув зубы, — Я всё сижу и думаю о тебе, Ева; но мне приходит в голову, ты, может быть, не слышала, что я хочу рассказать тебе. В первый раз, когда

Эдварда увидела Эзопа, она сказала: Эзоп, ведь это был мудрец, он был фригиец. Как это глупо. Она вычитала это в книжке, как раз в тот самый день, я в этом уверен.

— Да, — говорит Ева, — ну и что же?

— Насколько я помню, она говорила также о том, что у Эзопа был учителем Ксане. Ха-ха-ха!

— Да-а-а.

— Зачем вообще рассказывать в обществе, что у Эзопа был учителем Ксане? Я спрашиваю только. Ах, ты не расположена сегодня, Ева, а то ты живот бы надорвала от смеха.

— Да, по-моему, это смешно, — говорит Ева и в недоумении начинает натянуто смеяться. — Но я не понимаю этого так хорошо, как ты.

Я молчу и думаю, молчу и думаю.

— Тебе хочется, чтобы мы спокойно посидели и ничего не говорили? — потихоньку спрашивает Ева.

Доброта светилась у нее в глазах, она провела мне по волосам своей рукой.

— Добрая, добрая душа, — восклицаю я и крепко прижимаю ее к себе. — Я уверен, что я изнываю от любви к тебе, я люблю тебя всё больше и больше; ты будешь со мной, когда я уеду от сюда? Подумай. Ты хотела бы уехать со мной?

— Да, — отвечает она.

Я едва слышу это «да», но я чувствую его по ее дыханию, замечаю его по всему ее существу, мы бешено сжимаем друг друга в объятиях, и она отдается мне, всё позабыв. Час спустя я целую Еву на прощанье и ухожу. Я встречаюсь с господином Маком в дверях. Он вздрагивает и неподвижно смотрит в комнату.

— Ну-ну! — говорит он и больше не может сказать ни слова, как будто его оглушили. — Вы не ожидали увидеть меня здесь? — говорю я и кланяюсь.

Ева не двигается с места.

Господин Мак приходит в себя, необыкновенная уверенность овладевает им, он отвечает:

— Вы ошибаетесь, вас-то я и ищу. Я хочу обратить ваше внимание на то, что с первого апреля по пятнадцатое августа запрещено стрелять на расстоянии, меньшем одной восьмой мили от мест кладки яиц и нахождения гагачьих гнезд. Сегодня вы застрелили двух птиц около самого острова; вас видели.

— Я застрелил двух гагарок, — сказал я, совершенно сраженный.

— Двух гагарок или двух гагар, это решительно всё равно. Вы были в области, подлежащей

охране.

— Совершенно верно, — сказал я. — Это мне сейчас только пришло в голову.

— Но это должно было бы прийти вам в голову немножко пораньше.

— В мае месяце я тоже выстрелил из обоих стволов как раз на том же самом месте. Это было во время поездки на остров. Я выстрелил по вашей личной просьбе.

— Это совсем другое дело, сказал господин Мак резко.

— Ну так, черт возьми, объясните какие у вас были основания так действовать?

— Были, и достаточно весомые, — отвечал он.

Ева была наготове; когда я вышел, она последовала за мной, накинула на себя платок и вышла из дома; я видел, как она направилась к амбарам.

Господин Мак поплелся домой.

Я обдумал всё это. Как это ловко он сумел вывернуться! Как он уставился на меня! Выстрел, два выстрела, пара гагарок, штраф, уплата. И вот всё, всё кончено с господином Маком и его домом.

Уже начинал накрапывать дождь большими, мягкими каплями. Сороки летали низко над землей, и, когда я пришел домой и отвязал Эзопа, он стал есть траву. Ветер начинал шуметь.

XXIII

На милю вниз под собой я вижу море. Идет дождь, а я в горах, нависшая скала защищает меня от дождя. Я курю свою носогрейку, курю трубку за трубкой, и всякий раз, как я закуриваю, табак ползет маленькими раскаленными червячками из золы. Точно также мысли кишат у меня в голове. На земле, передо мной, лежит разоренное гнездо; всё оно сплетено из сухих веточек. И душа моя, как это гнездо.

Я помню каждый мельчайший пустяк из пережитого мною в этот последний и предыдущий день. Н-да-а, по дурной пошел я дороге… Я сижу здесь в горах, и море, и воздух шумят; какое-то ужасное кипение и жалобный вой раздается у меня в ушах от ветра и непогоды. Далеко в открытом море виднеются каботажные суда и яхты с зарифленными парусами, на палубе у них — народ; этим людям нужно куда-нибудь, и, Бог знает, куда попадут все эти жизни, думаю я. Море, пенясь, вздымается в воздух и движется, движется; словно оно населено громадными, дикими призраками, которые сталкиваются телами и

рычат друг на друга; нет, это какое-то торжество справляют десять тысяч визжащих дьяволов, они прячут головы в плечи и рыскают всюду кругом, до-бела стегая море концами своих крыльев. Далеко, далеко в море лежит подводная шхера, белый водяной встает с этой шхеры и отряхивает свою голову над получившим течь кораблем, который ветром относить в открытое море, н-да, в открытое море, туда, в пустынное море…

Я радуюсь тому, что я один, что никто не может видеть моих глаз; я доверчиво прислоняюсь к скале и знаю, что никто не стоит и не смотрит на меня сзади. Птица проносится над вершиной с надорванным криком, в то же самое мгновенье недалеко от меня каменная глыба отрывается от скалы и катится вниз к морю. И я продолжаю там тихо сидеть некоторое время, мной овладевает спокойствие, теплое ощущение уюта поднимается во мне при мысли, что я могу так спокойно сидеть в этом укромном уголке, между тем как там, снаружи, не переставая, идет дождь. Я застегнул свою куртку и благодарил Бога за то, что у меня теплая одежда. Прошло еще некоторое время. Я заснул. За полдень, я отправился домой, дождь еще не перестал. Вдруг я повстречал нечто необыкновенное! Эдварда стояла передо мной на

тропинке. Она насквозь промокла, как будто долго была снаружи, под дождем, но она улыбалась.

«Ну-ну»! — тотчас же подумал я, и злоба овладела мной, я бешено сжал пальцами ружье и так и шел к ней на встречу, не обращая внимания на ее улыбку.

— Здравствуйте! — прокричала она первая.

Я подошел к ней еще на несколько шагов ближе, и ответил:

— Привет и вам, прекрасная дева!

Она явно была удивлена моим шутливым тоном. Ах, я и сам не знал, что говорил. Она робко улыбнулась и спросила:

— Вы были в горах сегодня? Как вы промокли! У меня есть здесь платок, если хотите, возьмите его себе, мне он не нужен…

— Платок? — спросил я и от злобы и удивления стиснул зубы. — А у меня есть куртка, хотите взять ее? Мне она не нужна, мне хотелось кому-нибудь отдать ее, так что вы преспокойно можете взять ее. Жена какого-нибудь рыбака с радостью возьмет ее.

Я видел, что она напряженно старалась понять, что я хотел этим сказать; она слушала меня с открытым ртом и как-то сразу растеряла всю свою красоту и привлекательность. Она стояла

с платком в руках, это был белый шелковый платок, она сняла его у себя с шеи. Я тоже стащил свою куртку.

— Ради Бога, наденьте ее опять! — воскликнула она. — Зачем вы это делаете? Неужели вы так на меня злы? Нет, Боже мой, наденьте же ее опять, а то вы насквозь промокнете.

Я надел куртку.

— Куда это вы направляетесь? — глухо спросил я.

— Так, никуда…

— Куда вы дели барона? — продолжал допытываться я. — В такую погоду граф, конечно, не может быть на море…

— Глан, я хотела только кое-что сказать вам…

Я прервал ее:

Осмелюсь просить вас засвидетельствовать герцогу мое почтение.

Мы посмотрели друг на друга. Я был готов без конца прерывать ее, как только она откроет рот. Наконец, страдальческое выражение проскользнуло по ее лицу, я отвернулся и сказал:

— Откровенно говоря, советую вам отпустить принца на все четыре стороны, Эдварда. Он не годится вам в мужья. Уверяю вас, в эти последние дни он всё ходит и размышляет, жениться ему на

вас или нет, а этого вы вовсе не заслужили.

— Нет, не будем об этом говорить, хорошо? Глан, я думала о вас, я пришла к вам…

Я пожал плечами и продолжал:

— Вместо этого я предлагаю вам доктора. В чем вы его можете упрекнуть? Мужчина в расцвете лет, умница. Подумайте об этом.

— Послушайте меня хоть минутку…

— Моя собака, Эзоп, ждет меня в хижине.

Я снял фуражку, поклонился ей и снова сказал:

— Привет вам, прекрасная дева.

С этими словами я пошел прочь.

Она закричала:

— Нет, не разрывай моего сердца на части. Я пришла к тебе сегодня, подстерегала здесь тебя, и я улыбалась, когда ты пришел. Вчера я чуть с ума не сошла оттого, что всё время думала об одной вещи; комната ходила передо мной кругом, и я всё думала о тебе. Сегодня я сидела у себя, кто-то вошел; я не посмотрела, но знала, кто это.

— Вчера я греб целые пол фьердинга, — сказал он.

— Неужели вы не устали? — спросила я.

— Ах, конечно, очень усталь; и у меня на руках образовались волдыри —, сказал он мне в ответ, и он был очень этим огорчен.

Я подумала: «Вот чем он теперь огорчен»!

Некоторое время спустя он сказал:

— Сегодня ночью я слышаль шепот под моими окнами, это ваша горничная была занята интимной беседой с кем-то из ваших приказчиков.

— Да, они намереваются вступить в брак, — сказала я.

— Да, но ведь это было в два часа!

— Так что же? — спросила я и сказала немного спустя, — Ночь принадлежит им.

Тут он передвинул на носу свои золотые очки и заметил:

— Но неправда ли, разве, по-вашему, это прилично, так поздно ночью?

Я всё не поднимала глаз, и мы так просидели минуть десять.

— Не принести ли вам шаль? — спросил он.

— Нет, благодарю, — отвечала я.

— Кто же завладеет вашей маленькой ручкой? — сказал он.

Я не отвечала, мои мысли были совсем в другом месте.

Он положил мне на колени маленькую коробочку, я открыла и нашла в ней булавку, на булавке была корона, и я в ней насчитала десять камней… Глан, булавка у меня здесь, хочешь ее

посмотреть?

— Ну, так что же мне с ней делать, спросила я. — А вы возьмите ее себе, — отвечал он. Но я протянула ему булавку обратно и сказала:

— Оставьте меня в покое, я думаю о другом человеке.

— Кто этот другой? — спросил он.

— Один охотник, — отвечала я; он дал мне на память только два прекрасных пера; но возьмите же обратно вашу булавку.

Но он не хотел брать булавки обратно. Я в первый раз взглянула на него, глаза у него так и пронизывали.

— Я не возьму булавки обратно, делайте с ней, что хотите — сказал он.

Я встала, положила булавку себе под каблук и наступила на нее. Это было сегодня утром… Четыре часа я всё ходила и ждала; после обеда я отправилась из дома. Он встретился со мной на дороге.

— Куда это вы? — спросил он.

— К Глану, — отвечала я.

С часу ждала я здесь, я стояла у дерева и видела, как ты пришел; ты был, как какой-то бог. Я любила весь твой образ, твою бороду и твои плечи, всё в тебе я любила… Ты сгораешь нетерпением,

ты хочешь уйти, просто уйти, я для тебя не существую, ты не смотришь на меня…

Я всё стоял. Когда она умолкла, я снова пошел… Отчаяние лишило меня последних сил, сердце мое окаменело.

— Да, правда, — сказал я и опять остановился. — Вы что-то ведь хотели сказать мне?

— Я хотела вам что-то сказать? — Да, но я уже сказала; вы не слышали? Нет, больше ничего, ничего мне не остается вам сказать…

Голос у нее странно дрожал, но это меня не трогало.

XXIV

На следующее утро, когда я вышел на улицу, Эдварда уже стояла у хижины.

В течение ночи я всё взвесил и принял решение. Нет, зачем мне было дольше позволять ослеплять себя этому своенравному человеку, какой-то рыбачке, неучу; уже и так слишком долго ее имя сидело у меня в сердце и высасывало его. Довольно с меня! Мне пришло даже в голову, что я могу подойти к ней поближе только для того, чтобы показать ей свое равнодушие и посмеяться над ней. Ах, как я восхитительно посмеялся над ней вчера: после того, как она говорила в течение нескольких минут, а я преспокойно заметил ей, — Да, правда, вы что-то ведь хотели сказать мне…

Она стояла у камня. Она была в высшей степени возбуждена и хотела было бежать мне на встречу, она уже раскрыла объятия, но не сдвинулась с места и начала заламывать себе руки. Я взялся за фуражку и молча ей поклонился.

— Сегодня мне нужно от вас, Глан, только одно, — сказала она с какой-то особенной силой.

Но я не двинулся с места из-за того только, чтобы слышать, что она хотела сказать. — Я слышала, вы были у кузнеца. Это было вчера вечером. Ева была дома одна.

Я пришел в величайшее изумление и отвечал:

— От кого это вы получили такие сведения?

— Я не шпионю, — воскликнула она — мне рассказал отец. Когда я вчера вечером, промокшая насквозь, вернулась домой, отец сказал, — Ты нынче позволила себе издеваться над бароном. — Вовсе нет, — отвечала я. — Где ты сейчас была? — продолжал спрашивать он. Я отвечала, — У Глана. Тогда отец рассказал мне об этом.

Я ответил:

— И что с того? Я скажу вам большею Ева бывала даже здесь.

— В хижине?

— Много раз. Если вы позволяете себе вмешиваться в мои дела, я не хочу от вас отставать. Я предлагал вам вчера вариант с доктором; вы подумали об этом? Принц из него правда так себе.

Гнев зажегся в ее глазах.

— Знаете, что, — сказала она покраснев. — Да, он в разы лучше вас, он может находиться в доме, не разбивая чашек и стаканов, он не выбрасывает мои башмаки. Да. Он умеет обходиться с людьми,

но вы смешны, мне стыдно за вас, вы невыносимы, понимаете ли вы это!

Ее слова задели меня за живое, я наклонил голову и отвечал:

— Вы совершенно правы, что я уже разучился обходиться с людьми. Будьте сострадательны; вам не понять меня, я же живу в лесу, это для меня наслаждение. Здесь, в моем уединении, никто не страдает от того, что я такой, какой я есть; но, когда я начинаю контактировать с другими, я должен употребить все свои усилия для того, чтобы вести себя должным образом. За последние два года я так мало бывал в обществе людей.

— Каждую минуту от вас приходится ожидать какой-нибудь нелепой выходки, — продолжала она. — В конце концов становится утомительным иметь с вами дело.

Какие это были жестокие слова! Какая-то особенная горькая боль пронизала меня, я почти отшатнулся перед напором ее горячности. Однако Эдварда еще не закончила, она добавила:

— Может, Ева и захочет иметь с вами дело. Жаль только, что она замужем.

— Что вы говорите? Ева замужем? — спросил я

— Да, замужем.

— Кто же ее муж?

— Вы должны его прекрасно знать. Муж Евы — кузнец.

— Разве она не его дочь?

— Нет, она ему жена. Уж не думаете ли вы, что это я вам лгу?

Я ничего подобного не думал, просто меня это очень сильно поразило.

— Вы, однако, удачно выбрали, — язвительно проговорила Эдварда.

Меня стала пробирать гневная дрожь, и я сказал:

— Вам то что с того! Возьмите доктора, послушайтесь дружеского совета; ведь ваш принц — барон не более, как престарелый дурак.

И я наговорил про барона всякой чепухи: преувеличил его возраст; сказал, что он плешивый, что он почти совершенно ослеп; я заявил также, что он носить запонки с короной только для того, чтобы похвастаться своим дворянским происхождением.

— Я, впрочем, не имел особого желания познакомиться с ним, — добавил я. — В нем нет ничего выдающегося, ему недостаёт характерных черт, он ничего собой не представляет.

— Нет, представляет, представляет! — воскликнула она, и голос у нее прервался от гнева. — Он

представляет собой нечто гораздо большее, чем ты это, дикарь, думаешь. Но подожди только, о-о, он с тобой поговорит, я его об этом попрошу. Ты не веришь, что я его люблю, но ты увидишь, что ты ошибаешься; я выхожу за него замуж, буду думать о нем день и ночь. Помни же, что я говорю: я люблю его. Пусть только Ева придет, ха-ха, Боже мой, хотя пусть приходит, это для меня совершенно безразлично. Да, мне нужно уходить отсюда прочь…

Она пошла от хижины вниз, по тропинке, сделала несколько маленьких поспешных шагов, обернулась, всё еще с мертвенной бледностью на лице, и простонала:

— Слышишь, никогда больше не попадайся мне на глаза.

XXV

Листва желтела, картофельная зелень высоко выросла и стояла в цвету, снова наступило время охоты, я стрелял белых куропаток, тетерок и зайцев, раз застрелил орла. Тихое, высокое небо, холодные ночи, множество ясных гулов и милых звуков в лесу и в поле. Широко и мирно раскинувшись, покоился мир…

— Я ничего больше не слышал от господина Мака относительно тех двух гагарок, которых я застрелил, — сказал я доктору.

— Вы можете поблагодарить за это Эдварду, — отвечал он. — Я знаю это, я слышал, как она просила отца не наказывать вас.

Бабье лето, бабье лето, тропинки лежат, как пояса среди желтеющего леса, каждый день появляется по новой звезде, месяц мерцает, словно какая-то тень, золотая тень, погруженная в серебро…

— Бог с тобой, Ева, ты, оказывается, замужем?

— А ты не знал?

— Нет, я не знал.

Она молча сжала мне руку.

— Господь с тобой, мое дитя, что же нам теперь делать?

— Что хочешь. Может быть ты пока никуда не уедешь? Мне хорошо, пока ты здесь. — Нет, Ева.

— Да, да, пока только ты здесь!

Она беспомощно смотрит в даль и всё время жмет мне руку.

— Нет, Ева, уходи! Навсегда!

И ночи проходят, и дни наступают; уже третий день пошел со времени этого разговора. Ева идет по дороге с ношей. Как много, однако, дров нес этот ребенок домой из леса, среди лета!

— Положи свою ношу, Ева, на землю, и дай мне посмотреть в твои прекрасные голубые глаза.

Глаза у нее были красные.

— Нет, улыбнись, Ева. Я не могу больше тебе противостоять, я твой, я твой…

Вечер. Ева поет, я слышу ее пение, и какая-то теплота разливается по всему моему телу.

— Почему ты поешь Ева?

— Потому что мне весело.

И так как она меньше меня ростом, она подпрыгивает немножко вверх, чтобы достать до моей шеи.

— Ева, смотри, ты исцарапала себе все руки. Боже мой, как это случилось?!

— Ерунда.

Лицо у нее также как-то странно сияет.

— Ева, ты разговаривала с господином Маком?

— Один раз.

— О чем?

— Он стал ужасно суров по отношению к нам, он заставляет моего мужа день и ночь работать в амбаре, мне он тоже приказывает исполнять самую тяжелую работу.

— Почему он это делает?

Ева потупила глаза.

— Почему он это делает, Ева?

— Потому что я тебя люблю.

— Но как он узнал об этом?

— Я сама ему это сказала.

— Дай Бог, чтоб он не был с тобой суров, Ева.

— Но это ничего не значит. Ничего не значит теперь!

И ее голос прозвучал в лесу, совсем как переливчатая песенка.

А листва всё желтеет и желтеет, дело идет к осени, еще больше звезд появилось на небе, и месяц теперь уже похож на серебряную тень, погруженную в золото.

Пока еще не было холодно, ничуть, только в лесу была прохладная тишина, и кипела жизнь.

Каждое дерево стояло и думало. Ягоды поспели. И вот наступило двадцать второе августа и с ним три железных ночи.

XXVI

В девять часов заходит солнце. Полупрозрачный мрак ложится на землю, показываются две-три звезды, два часа спустя выплывает серп луны. Я брожу по лесу со своим ружьем и собакой, развожу огонь, и свет от моего костра проникает в глубь леса между стволами сосен. Мороза нет.

«Первая железная ночь», — говорю я, и безумная жгучая радость как-то странно потрясает меня всего, при мысли о времени и месте… Вы, люди, звери и птицы, я пью с вами за уединенную ночь в лесу, в лесу! Пью за мрак и шепот бога среди деревьев; за нежное, простое благозвучие, слышимое мной в молчании; за зеленую листву и за желтую листву! Пью за звук жизни, который я слышу; за собаку, которая, с фыркающей мордой в траве, нюхает землю! С бурной радостью пью за дикую кошку, которая вытянулась всем телом, высматривает и готовится прыгнуть на воробья во мраке! Пью за кроткую тишину в земном царстве, за звезды и за полумесяц, да и за них, и за него!..

Я встаю и прислушиваюсь. Вокруг тишина. Я

снова сажусь.

Благодарение за уединенную ночь, за горы, за мрак и за шум моря. Благодарение за жизнь, за дыхание, я благодарю за это ото всего сердца! Это вечный Бог! Эта тишина, что шепчет мне на ухо, — кипучая кровь великой природы, Бог, пронизывающий мир и меня. Я вижу блестящую нить паутины при свете моего костра, я слышу плывущую по морю лодку, северное сияние ползет вверх по небу. Клянусь своей бессмертною душой, о как благодарен я за то, что я всё это вижу и чувствую!..

Тишина. Сосновая шишка глухо падает на землю. Месяц — высоко, огонь мигает на полу сгоревших поленьях и вот-вот погаснет. И поздней ночью я бреду домой.

Вторая железная ночь; такая же тишина и мягкая погода. Моя душа созерцает. Я машинально подхожу к дереву, надвигаю фуражку низко на лоб и прислоняюсь спиной к этому дереву, заложив руки за голову. Я пристально смотрю и думаю; пламя моего костра слепит мне глаза, а я этого не чувствую. Я стою в этом бесчувственном состоянии довольно-таки долго и смотрю на огонь; ноги у меня начинают подгибаться от усталости; совершенно оцепеневший я сажусь.

Эзоп поднимает голову и присматривается, он слышит шаги, показывается Ева.

— Я сегодня вечером как-то особенно задумчив и печален, — говорю я.

И она от сострадания ничего на это не отвечает.

— Я люблю три вещи, — продолжаю я говорить. — Люблю сон, в котором мне раз пригрезилась любовь, люблю тебя и люблю этот клочок земли.

— А что ты больше всего любишь?

— Сон.

Опять наступает молчание.

Я шепчу:

— Я видел сегодня девушку на дороге, она шла под руку со своим возлюбленным. Девушка показала на меня глазами и едва могла удержаться от смеха, когда я проходил мимо.

— Над чем же она смеялась?

— Надо мной конечно. Почему ты об этом спрашиваешь?

— Ты ее узнал?

— Да. Я поклонился.

— А она тебя не узнала?

— Нет… Но зачем ты всё выспрашиваешь у меня? Это нехорошо с твоей стороны. Ты не заста-

вишь меня назвать ее имя. Над чем она смеялась? Она кокетка; но над чем она смеялась? Боже мой, что же я ей сделал?

Ева отвечает:

— Это было очень неприлично с ее стороны смеяться над тобой…

— Зачем ты так говоришь, — начинаю злиться я, — она не сделала ничего плохого, она имела полное право смеяться надо мной. Замолчи, черт возьми, и оставь меня в покое, слышишь!

И Ева, перепуганная, оставляет меня в покое; я смотрю на нее и в то же самое мгновение раскаиваюсь в своих грубых словах, я падаю перед ней на колени и умоляю:

— Иди домой, Ева. Я тебя больше всего люблю; как я мог бы любить сон? Я просто пошутил, я люблю тебя. Но сейчас иди домой, я приду к тебе завтра; помни, я твой, да, не забывай этого. Покойной ночи!

И Ева идет домой.

Третья железная ночь, ночь крайней напряженности.

Хоть бы чуточку мороза! Вместо мороза неподвижная теплота после дневного солнца; ночь была, словно душное болото. Я развел свой костер…

— Временами, Ева, можно находить известного рода удовольствие в том, что тебя таскают за волосы. До такой степени извращенности может дойти человеческая душа. Тебя тащат за волосы вниз, в долину, и вверх, в гору; и если кто-нибудь спросить тебя, что тут, однако, происходит, — ты ответишь в совершенном восторге: «Меня тащат за волосы!» И если при том спросят: «Не помочь ли тебе, не освободить ли тебя?», ты ответишь: «Нет». И если спросят: «Но выдержишь ли ты это?», то ты ответишь: «Да, я это выдержу; так как я люблю руку, которая меня тащит… Знаешь ли ты, Ева, что значит надежда?

— Да, мне кажется.

— Видишь-ли, Ева, надежда это нечто удивительное, нечто ужасно странное. Ты идешь утром где-нибудь по дороге и надеешься встретиться на этой дороге с человеком, который тебе дорог. И что же, встречаешь этого человека? Нет. Почему же нет? А потому, что человек занят в это утро и находится в совершенно другом месте… Я познакомился в горах со слепым стариком, лопарем. В пятьдесят восемь лет он уже совершенно потерял зрение, и теперь ему было за семьдесят. Ему представилось, что с течением времени он видел всё лучше и лучше, выздоровление постепенно

подвигалось вперед, казалось ему; если ничто не помешает, он через несколько лет будет в состоянии опять видеть солнце.

У него были еще черные волосы, но глаза у него были совершенно белые. Когда мы сидели вместе в его землянке и курили, он рассказывал обо всем, что он видел, прежде чем ослеп. Он был крепок и здоров, несмотря на потерю зрения; он не был сломлен и хранил свою надежду. Когда мне нужно было уходить, он последовал за мной из хижины и начал показывать в различных направлениях. Там — юг, говорил он, а там-север. Теперь ты пойдешь сначала в этом направлении, а когда спустишься по горе немного вниз, то свернешь в эту сторону, говорил он. Совершенно верно, отвечал я. И тут лопарь самодовольно засмеялся и сказал: вот видишь, этого я не знал, когда мне было сорок, пятьдесят лет; значить, теперь я вижу лучше, чем тогда; зрение всё улучшается и улучшается. И вот он нагнулся и снова вполз в землянку, в эту вечную землянку, его земную обитель. И он снова уселся у огня по-прежнему, полный надежды на то, что через несколько лет он будет уже в состоянии различать блеск солнца… Ева, это необыкновенно странная вещь — надежда. Например, я всё

хожу теперь и надеюсь забыть про того человека, с которым мне не удалось встретиться сегодня утром на дороге.

— Как ты чудно говоришь!

— Сегодня третья железная ночь. Я обещаю тебе, Ева, стать совершенно другим человеком завтра. Оставь меня только теперь одного. Ты просто не узнаешь меня завтра, когда я приду, я буду смеяться и стану целовать тебя, красота моя. Подумай мне осталась только эта ночь, а там я стану совершенно другим человеком, еще несколько часов — и я совсем другой. Покойной ночи, Ева.

— Покойной ночи.

Я ложусь поближе к своему костру и рассматриваю пламя. Еловая шишка падает с ветки, вместе с ней падают на землю один-два сухих сучка. Глубокая ночь. Я закрываю глаза.

Через час мои чувства начинают колебаться определенным ритмом, я образую одно созвучье с великим безмолвием, одно созвучье. Я смотрю на полумесяц, он стоит в небе, словно какая белая чешуя, и мне кажется, что я его люблю; я чувствую, как я краснею. И мое сердце бьется ему навстречу в сладостном трепете. Это продолжается несколько минут. Слабое дуновение; какой-то

особенный ветер долетает до меня, странное движение воздуха, что это такое? Я оглядываюсь кругом и никого не вижу. Ветер зовет меня, и моя душа покорно отзывается на зов, я чувствую себя выхваченным из обыденной связи моих мыслей, прижатым к чьей-то невидимой груди, мои глаза увлажняются, я дрожу, — Бог стоить где-нибудь по близости и смотрит на меня. Это продолжается опять несколько минут. Я поворачиваю голову, странное движение воздуха прекращается, и я вижу что-то, вроде духа, обращенного ко мне спиной, который беззвучно проходит через лес… Некоторое время я борюсь с тяжелым оцепенением, я совершенно обессилен этим возбуждением, смертельная усталость овладевает мной, и я засыпаю.

Когда я проснулся, ночь уже прошла. Ах, я долгое время бродил в мрачном настроении, весь в лихорадке, постоянно ожидая, что я заболею той или другой болезнью. Предметы неоднократно представлялись мне опрокинутыми, я на всё смотрел воспаленными глазами, глубокая печаль владела мной.

Теперь всё это прошло.

XXVII

Осень. Лето прошло, оно исчезло так же быстро, как пришло; ах, как оно быстро пролетело! Теперь наступили холодные дни, я охочусь, ловлю рыбу и пою песни в лесу.

Бывают дни с густым туманом, он несется на землю с моря и всё окутывает мраком. В один из таких дней вот что со мной случилось. Во время моих странствований, заблудившись, я попал прямо в приходской лес и вышел к дому доктора. Там были гости, молодые дамы, с которыми мне приходилось встречаться раньше, танцующая молодежь, настоящие саврасы без узды.

Подкатил экипаж и остановился у садовой ограды; в экипаже сидела Эдварда. Она ужасно удивилась, увидев меня.

— Прощайте! — сказал я среди всеобщего молчания.

Но доктор удержал меня. Эдварда в начале была стеснена моим присутствием и потупила глаза, когда я заговорил; но потом она успокоилась и даже обратилась ко мне с двумя-тремя пустячными вопросами. Она была поразительно бледна;

седой, холодный туман ложился ей на лицо. Она не вышла из экипажа.

— Я по делу, — сказала она, смеясь. — Я сюда прямо от приходской церкви, где я никого из вас не могла найти; мне сказали, что вы здесь. Я целый час проездила, чтобы вас разыскать. У нас собирается завтра вечером небольшое общество, по случаю того, что барон уезжает на следующей неделе, мне поручили всех вас пригласить. Будут и танцы. Завтра вечером.

Все кланялись и благодарили.

Мне она сказала:

— Пожалуйста, приходите и вы. А то пришлете в последнюю минуту письмо с извинениями.

Этого она никому другому не говорила. Немного спустя она уехала.

Я был тронут этим неожиданным дружелюбным обращением. Затем я простился с доктором и с его гостями и отправился домой. Как она была ко мне благосклонна, как она была ко мне благосклонна! Чем мне отблагодарить ее за это? Руки у меня ослабли, приятный холод пробежал по кистям.

Только поздно вечером я пришел домой. Я выбрал путь мимо пристани и спросил какого-то рыбака, не придет ли почтовый пароход к зав-

трашнему вечеру. Ах, нет, почтовый пароход должен прийти как-нибудь на следующей неделе. Я поспешил к хижине и занялся исследованием своей одежды. Я ее чистил и приводил в порядок, в некоторых местах на ней оказались дыры, и я зашивал их.

Когда я закончил с этим, я улегся на нарах. Одно мгновение длился мой покой, как вдруг мне пришла мысль, и я вскочил, пораженный, и встал посреди хижины.

— Всё это опять одни только хитрости, — шептал я. Меня не пригласили бы, если бы я случайно не оказался тут же, когда приглашали других; мало того, она совершенно ясно намекнула мне, что я не должен приходить, что я должен прислать письмо с извинениями…

Я не спал всю ночь и, когда наступило утро, я пошел в лес, прозябший, не выспавшийся. Ну что же сегодня в Сирилунде готовятся к гостям?! Я не пойду туда и не пошлю никаких извинений. Господин Мак необыкновенно умный человек, он устраивает в честь барона это празднество; но я на нем не появлюсь.

Густой туман лежал в долине и на горах, влажная изморозь оседала на мою одежду и отягощала ее, лицо у меня замерзло и было мокрое. Только

изредка налетал порыв ветра и заставлял спящие туманы подниматься и опускаться, подниматься и опускаться. Наступал вечер, смеркалось, туман всё заволакивал у меня перед глазами, и я не мог ориентироваться по солнцу. Временами я подумывал о возвращении домой; но мне не за чем было спешить, и я всё-таки ошибся в направлении и вышел к незнакомой мне части леса. Наконец, я прислонил ружье к стволу дерева и достал свой компас. Я точно определил себе дорогу и снова отправился в путь. Времени было около восьми, девяти часов. И вот что случилось.

Спустя какие-нибудь полчаса я услышал сквозь туман музыку, еще несколько минут, и я узнал место, я как раз у главного здания Сирилунда. Что это — компас своими неверными показаниями привел меня прямо к тому самому месту, которого я хотел избегнуть? Знакомый голос зовет меня, это голос доктора. Немного спустя меня приглашают войти в дом.

Ах, это ружейный ствол, должно быть, подействовал на компас и заставил его неправильно показывать нужное мне направление. Это со мной случилось еще раз позже, в следующем году.

XXVIII

В продолжение всего вечера меня не покидало неприятное ощущение, что мне не следовало являться в это общество. Мое прибытие осталось почти незамеченным, все так были заняты друг другом. Эдварда еле поздоровалась со мной. Я начал без конца пить, так как я понял, что был здесь лишним, и всё-таки не ушел.

Господин Мак всё время улыбался, и на лице у него отражалось величайшее удовольствие, он нарядился во фрак и имел очень представительный вид. Его можно было видеть то тут, то там, в различных комнатах, он всюду появлялся среди этой полсотни гостей, иногда танцевал какой-нибудь танец, шутил и смеялся. В глазах у него крылось что-то затаенное. Шум от музыки и голосов раздавался по всему дому. Пять комнат было занято гостями, и, кроме того, танцевали в большой зале.

Когда я пришел, был ужин. Девушки бегали туда-сюда со стаканами и винами, блестящими медными кофейниками, сигарами, трубками, пирожками и фруктами. Всего было вдоволь.

Люстры во всех комнатах были в изобилии снабжены толстыми свечами, отлитыми для этого случая; кроме того, были зажжены новые парафиновые лампы.

Ева помогала на кухне, я мельком видел ее.

Барон был предметом всеобщего внимания, хотя он вел себя тихо и скромно и ничуть не выставлялся. Он тоже был во фраке, фалды которого самым жалким образом были измяты упаковкой. Он то и дело разговаривал с Эдвардой, следил за ней глазами, чокался с ней и называл ее «фрекен», точно так же, как дочерей пробста и окружного врача. Я всё время чувствовал к нему какое-то отвращение и просто не мог даже взглянуть на него без того, чтобы тотчас же не отвернуться с печальной и глупой гримасой. Когда он обращался ко мне, я отвечал кратко и затем сжимал губы.

Мне кое-что вспоминается из этого вечера. Я стоял, занятый разговором с молодой девушкой, блондинкой, и вот я рассказал ей какую-то историю, заставившую ее рассмеяться. Это вовсе не была какая-нибудь замечательная история; но, может быть, я в своем немного опьяненном состоянии рассказал ее гораздо забавнее, чем я теперь могу припомнить; это во всяком случае вылетело у меня из головы. Но дело в том, что,

когда я обернулся, Эдварда стояла сзади меня. Она бросила на меня дружелюбный взгляд. Потом я заметил, что она увлекла блондинку с собой, с намерением узнать от нее, что я такое сказал. Я сказать не могу, как благотворно на меня подействовал взгляд Эдварды, после того, как я целый вечер прослонялся из комнаты в комнату; у меня тотчас же на душе стало светлее, я начал больше разговаривать, и со мной, как ни странно, охотно поддерживали разговор.

Я стоял на лестнице. Из комнаты вышла Ева с какими-то вещами. Она увидела меня, вышла на лестницу и поспешно провела своей рукой по моим рукам, потом она улыбнулась и пошла назад. Никто из нас не заговорил. Тогда я пошел за ней, Эдварда стояла в проходе и смотрела на меня. Она смотрела прямо на меня. Впрочем, она опять ничего не сказала. Я вошел в зал.

— Представьте себе, лейтенант Глан для препровождения времени устраивает свидания с прислугой, там, на лестнице, — вдруг громко сказала Эдварда.

Она стояла в дверях. Многие слышали, что она сказала. Она смеялась, как будто она шутила, но лицо у нее было ужасно бледно.

Я на это ничего не ответил, я только пробор-

мотал:

— Это было совершенно случайно, она только что вошла, мы встретились в передней…

Прошло несколько времени, быть может, с час. Одна дама опрокинула стакан себе на платье. Лишь только Эдварда увидала это, она воскликнула:

— Что тут такое? Это, конечно, Глан натворил.

Я был не при чем, я стоял на другом конце зала, когда случилось несчастье. С этих пор я снова начал пить безо всякой меры и держался более у дверей, чтобы быть в стороне от танцующих.

Около барона не переставали толпиться дамы; он жалел, что его коллекции уже упакованы, так что он не мог показать кое-что из них, этот кустик водорослей из Белого моря, глину с Корхольмов, необыкновенно интересные каменные образования с морского дна. Дамы с любопытством рассматривали его запонки, эти короны с пятью зубцами, которые также обозначали баронство.

Между тем доктор не имел никакого успеха, даже его остроумное проклятие, это: «Смерть, возьми!», уже не производило больше никакого впечатления. Но когда говорила Эдварда, он всегда был наготове, снова исправлял ее речь, ставил ее в тупик мелочными придирками, принижал

ее своим спокойным превосходством.

Она сказала:

— … Вплоть до тех пор, пока мне не придется идти через долину смерти.

— Через чего?

— Через долину смерти. Разве это не так называется?

— Я слышал про реку смерти. Вы это, наверное, хотели сказать.

Потом она рассказывала, что она отдала приказание стеречь какую-то вещь, как стережет…

— Дракон, — подсказал доктор.

— Ну да. Как дракон стережет, — ответила она.

Но доктор сказал:

— Вы должны быть мне благодарны за то, что я вас спас. Я уверен, что вы хотели сказать — Аргус.

Барон поднял вверх брови и бросил на него через свои толстые очки удивленный взгляд; но доктор не обратил на это никакого внимания. Какое ему было дело до барона!

Я всё стоял у дверей. В зале танцевали кадриль. Мне удалось завязать разговор с приходской учительницей. Мы говорим про войну, про положение дел в Крыму, про события во Франции, про Наполеона в сане императора, про его помощь

туркам; молодая дама читала летом газеты и могла мне сообщить новости. В конце концов мы уселись на софе и продолжили наш разговор.

Эдварда проходила мимо, остановилась перед нами и вдруг сказала:

— Надеюсь господин лейтенант извинит меня за то, что я стала свидетелем той неловкой ситуации там, на лестнице. Я никогда этого больше не буду делать.

Она снова рассмеялась и не даже не посмотрела на меня.

— Эдварда, перестаньте, — сказал я.

Она называла меня «господин лейтенант», это было не к добру, и выражение лица у нее было злое. Я подумал о докторе и презрительно пожал плечами, как он бы это сделал. Она сказала:

— Но почему господин лейтенант не отправится на кухню? Ева там. Мне кажется, вам следовало бы также быть там.

После этого она с ненавистью посмотрела на меня.

Я ответил:

— А вы не слишком ли рискуете быть неправильно понятой, дорогая Эдварда?

— Нисколько.

— Вы иногда говорите так необдуманно. Сейчас

вот, например, мне показалось, что вы совершенно серьезно отсылали меня на кухню, и это, конечно же недоразумение.

Я прекрасно знаю, что вы не собирались показаться невоспитанной.

Она отошла от нас на несколько шагов. Я мог заключить по ее внешнему виду, она всё время думала о том, что я сказал.

После чего она ответила, тяжело переводя дыхание:

— Тут не было вовсе никакого недоразумения, господин лейтенант, вы не ослышались, я отсылала вас на кухню.

— Ну нет, Эдварда! — в ужасе воскликнула учительница.

И я снова начал разговор про войну и про положение дел в Крыму; но мои мысли были далеко ото всего этого. Я уже больше не чувствовал себя опьяненным, только совершенно ошеломленным; почва ускользала у меня из-под ног, и я снова потерял равновесие, как это со мной, увы, не раз и раньше случалось. Я поднялся с софы и собрался уходить. Доктор остановил меня.

— Я только-что слышал хвалебную речь в ваш адрес, — сказал он.

— Хвалебную речь? От кого?

— От Эдварды. Она всё еще стоит там, в углу, и пламенным взором смотрит на вас. Я никогда этого не забуду, у нее были совершенно влюбленные глаза, и она громко заявила, что она в восхищении от вас.

— Это хорошо, — отвечал я, смеясь, — хотя в душе у меня творилась полная сумятица. Я подошел к барону, наклонился к нему, как будто я что-то хотел ему шепнуть, и когда я быть достаточно близко от него, я плюнуть ему в ухо. Он вскочил и ошеломленно уставился на меня, в недоумении от моего поступка. Позже я видел, как он докладывал Эдварде о происшедшем и как она опечалилась. Она наверняка вспомнила про свой башмак, брошенный мною в воду, про чашки и стаканы, которые я имел несчастье разбить; про все остальные преступления, совершенные мною против хорошего тона; всё это, непременно, ожило снова в ее воспоминаниях. Мне стало стыдно за самого себя, со мной было всё кончено; куда я ни обращался, я всюду встречал боязливые и удивленные взгляды, и я ускользнул из Сирилунда, ни с кем не простившись и никого не поблагодарив.

XXIX

Барон уезжал; прекрасно! Я заряжу ружье, и взберусь на горы, и сделаю громкий выстрел в честь его и Эдварды. Я пробуравлю глубокую дыру в скале и на куски разорву гору в честь его и Эдварды. И громадный обломок скалы покатится вниз с горы и с силой погрузится в море, когда мимо будет проходить его пароход. Я знаю одно место, лощину в горе, где раньше уже скатывались камни и образовали свободный путь вплоть до самого моря.

Далеко внизу находится место для хранения лодок.

— Два бурава! — говорю я кузнецу.

И кузнец выковывает два бурава…

Еве было поручено ездить с одной из лошадей господина Мака взад и вперед по дороге между мельницей и амбаром. Она должна была исполнять мужскую работу, — перевозить мешки с зерном и мукой. Когда я встретил ее, то поразился как она прекрасна со своим свежим лицом! Боже мой, как нежно пылает ее улыбка! Каждый вечер я видался с ней.

— У тебя такой вид, Ева, как будто ты не знаешь никаких забот, милая моя.

— Ты называешь меня своей милой! Я необразованная женщина, но останусь тебе верна. Я останусь тебе верна, хотя бы мне из-за этого пришлось умереть. Господин Мак становится с каждым днем всё строже и строже, но это меня не беспокоит; он приходит в бешенство, но я ему не отвечаю. Он схватил меня за руку и почернел от ярости. У меня только одна забота.

— Какая же это забота?

— Господин Мак угрожал тебе. Он мне говорил, — Ага, это тебе лейтенант засел в голову! — Я ответила, — Да, я ему принадлежу. — Тогда он сказал, — Вот подожди только, я его спроважу отсюда! — Это он говорил вчера.

— Это ничего не значит; пусть угрожает… Ева, я могу посмотреть, твои ноги всё такие же маленькие? Закрой глаза и дай мне посмотреть!

И она бросилась с закрытыми глазами мне на шею.

XXX

Я сидел в горах и буравил. Меня окружал кристально-прозрачный осенний воздух, удары по моему бураву раздавались равномерно и строго в такт, Эзоп смотрел на меня удивленными глазами. Поток удовлетворенности проскальзывал по временам в моей груди; никто не знал, что я здесь, в этих пустынных горах.

Перелётные птицы теперь улетели, счастливого пути и благополучного возвращения! Серые и черные синицы, да кой-где горные воробьи — одни остались на пустынных, каменистых обрывах и среди кустарника; пип — пип! Всё так странно изменилось, карликовая береза красной кровью выделяется на сером камне; здесь колокольчик, там купена поднимаются из вереска, и качаются, и тихо напевают песенку; слышишь? Но над всем парит цапля с вытянутой шеей, направляя свой путь в горы. И наступает вечер, я прячу свой бурав и долото под камень и отдыхаю. Всё дремлет, месяц поднимается на севере, горы бросают гигантские тени. Полнолуние, месяц похож на пылающий остров, он похож на круглую загадку

из латуни, вокруг которой я хожу и дивлюсь. Эзоп беспокойно встал.

«Что случилось, Эзоп? Мне надоела моя печаль, я хочу забыть о ней, утопить ее. Я приказываю тебе лежать спокойно, Эзоп; я не хочу, чтобы меня беспокоили».

Ева спрашивала:

— Думаешь ты иногда обо мне?

Я отвечал:

— Всё время о тебе.

Она опять спрашивала:

— И тебе доставляет радость думать обо мне?

— Непременно радость, всегда только радость.

И вот Ева говорит:

— У тебя волосы седеют.

И я отвечаю:

— Да, они начали седеть.

Но Ева спрашивает:

— Ты знаешь почему?

И на это я отвечаю:

— Может быть.

Потом Ева говорит:

— Так ты не обо мне одной думаешь…

Эзоп, лежи себе спокойно, я лучше расскажу тебе что-нибудь другое… Но Эзоп стоить и напряженно нюхает по направлению к долине; он

визжит и тянет меня за одежду. Когда я наконец встаю и следую за ним, он бросается туда со всех ног. На небе, над лесом показывается зарево, я ускоряю шаги в этом направлении, перед моими глазами показывается огонь, огромный костер. Я останавливаюсь и пристально смотрю, делаю несколько шагов и вижу, что моя хижина вся в огне.

XXXI

Пожар этот был делом рук господина Мака, — я сразу это понял. Я потерял свои звериные шкуры и птичьи крылья, я потерял чучело орла; всё сгорело. Ну что же теперь делать? Я провел две ночи под открытым небом, не желая отправляться в Сирилунд попросить пристанища, наконец я нанял покинутую рыбачью хижину у пристани и проконопатил ее высушенным мхом. Я спал на подстилке из красного вереска, принесенного мною с гор. У меня снова был кровь.

Эдварда прислала нарочного с поручением сказать, что она слышала о моем несчастии и что она теперь предлагает мне от имени отца комнату в Сирилунде. Эдварда тронута? Эдварда великодушна? Я не послал никакого ответа. Слава Богу, я уже больше не был бездомным, и мне это доставило гордую радость — ответить молчанием на приглашение Эдварды. Я встретил ее на дороге вместе с бароном, они шли под руку, я посмотрел им обоим в лицо и поклонился мимоходом. Она остановилась и спросила:

— Вы не хотите жить у нас, господин лейте-

нант?

— У меня уже есть мое новое жилье, — отвечал я и тоже остановился.

Она посмотрела на меня, грудь у нее сильно вздымалась.

— И у нас вам ничего бы дурного не сделали, — сказала она.

В сердце у меня проснулась благодарность; но я был не в состоянии что-нибудь сказать.

Барон незаметно отошел в сторону.

— Вы, может, теперь никогда больше не хотите меня видеть? — спросила она.

— Благодарю вас, Эдварда, что вы предложили мне кров, когда у меня сгорела хижина, — сказал я. — Это было тем более благородно, что едва ли вы имели на это согласие вашего отца.

— Боже мой, неужели вы никогда больше не хотите меня видеть? — сказала она вдруг.

Барон позвал ее.

— Барон зовет, — сказал я и снова с низким поклоном снял фуражку.

Я побрел в горы к своей мине. Ничто, ничто не могло уже больше смутить меня. Я встретил Еву.

— Вот видишь? воскликнул я, господин Мак никак не может меня извести. Он сжег мою хижину, а у меня теперь уже другая…

В руках у нее была кисточка и ведро со смолой.

— Ну как дела, Ева?

— Господин Мак приказал положить там под скалой, у лодочной пристани, лодку и велел осмолить ее.

Он следил за каждым ее шагом, она вынуждена была повиноваться.

— Но почему именно там? Почему не у пароходной пристани?

— Господин Мак так приказал…

— Ева, Ева, моя милая, тебя сделали рабой, и ты даже не жалуешься. Вот теперь ты опять улыбаешься, и жизнь бьет ключом в твоей улыбке, хоть ты и раба!

Когда я пришел к моей мине, я был неприятно удивлен. Я увидел, что туда кто-то приходил, я сталь рассматривать следы на траве и узнал отпечатки длинных с острыми носками штиблет господина Мака. «Чего это он здесь рыщет и вынюхивает?» — подумал я и огляделся кругом. Никого не было видно. Никакого подозрения не пробудилось во мне, и я уселся, чтобы продолжить долбить своим буравом, не предчувствуя, что за безумие я совершал.

XXXII

Пришел почтовый пароход, он привез мне мой мундир, он должен был увезти с собой барона и все его ящики, набитые раковинами и различными породами водорослей. Теперь он загружался у пристани бочками с сельдью и ворванью, к вечеру он должен был отплыть.

Я взял ружье и положил массу пороха в его оба ствола. Сделав это, я кивнул самому себе. Я пошел в горы и наполнил порохом также мою мину. Теперь всё готово. Я улегся в ожидании. Я ждал несколько часы. Я всё время слышал, как пароход, поднимаясь и опускаясь, звенел цепями у пристани. Уже начало смеркаться. Наконец, раздался свисток, груз принят, пароход отплывает. Теперь мне остается ждать всего несколько минут. Месяц еще не всходил, а я, как безумный, впивался глазами в вечерний сумрак. Как только самый кончик бугшприта показался из-за островка, я зажег свой фитиль и поспешно удалился.

Прошла минута. Вдруг раздался взрыв, столб каменных осколков поднялся в воздух, гора содрогнулась, и скала с грохотом покатилась вниз

в пропасть. Я схватил ружье и сделал выстрел из одного ствола; эхо ответило многократно. Спустя мгновенье я делаю выстрел также и из другого ствола; воздух дрогнул от моего приветствия, и эхо забило тревогу; как будто горы сговорились все вместе громко крикнуть в честь уходящего корабля. Прошло некоторое время, воздух успокоился, эхо умолкло, и снова земля лежит безмолвной. Корабль исчез в сумерках.

Я всё еще дрожал от какого-то необыкновенного напряжения, взял свои бурава и ружье подмышку и начал спускаться вниз, под гору, с ослабевшими коленями. Я отправился кратчайшим путем, не отрывая глаз от дымящегося следа, оставленного моим обвалом. Эзоп всё время шел, тряс головой, и чихал от запаха гари.

Когда я спустился вниз, к лодочной пристани, перед моими глазами предстало зрелище, которое привело меня в ужаснейшее волнение: лежала лодка, совершенно раздробленная скатившимся обломком скалы, и Ева, Ева лежала рядом с ней вся изуродованная и скомканная, вся избитая, с истерзанным до неузнаваемости боком и разорванным животом. Ева умерла тут же на месте.

XXXIII

Что мне еще писать? В продолжение многих дней я не сделал ни единого выстрела, мне нечего было есть, и я не ел, я сидел в своем сарае. Еву отвезли в церковь на белой домашней лодке господина Мака, я шел берегом и встретился с погибшей у могилы…

Ева умерла. Ты помнишь ее маленькую девичью головку с волосами прибранными, как у монахини? Она появлялась так тихо, складывала наземь свою ношу и улыбалась. И ты видел, как эта улыбка кипела жизнью? Тише, Эзоп, мне припоминается странная сага, это было четыре человеческих возраста тому назад, во времена Изелины, когда священнослужителем был Стамер. Одна девушка была заключена в башню с крепкими стенами. Она любила. Почему? Спроси у ветра и звезд, спроси у бога жизни; ибо никто другой не знает про то. И он был ее другом и возлюбленным; но время шло, и как-то раз он увидел другую, и его чувства изменились. Как юноша, любил он девушку. Он называл ее часто своим благословением и своей голубкой, и у нее была

горячая, трепещущая грудь. Он сказал: «Отдай мне свое сердце!» И она это сделала. Он сказал: «Могу ли я тебя о чем-нибудь просить, возлюбленная?» И она отвечала, опьяненная: «Да.» Она всё ему отдала, и он всё-таки ее не отблагодарил. Другую он любил, как раб, как безумец и как нищий. Почему? Спроси дорожную пыль и листья, что падают на землю, спроси загадочного бога жизни; ибо никто иной не знает про то. Она ему ничего не давала, нет, ничего она ему не давала, и он, однако, ее благодарил. Она сказала: «Отдай мне твой покой и твой разум!» И он печалился только о том, что она не попросила у него жизни. И его девушку посадили в башню…

— Что ты делаешь, девушка, ты сидишь и улыбаешься?

— Я думаю про то, что было десять лет тому назад. Тогда я его встретила.

— Ты его еще помнишь?

— Я его еще помню.

А время идет…

— Что ты делаешь, девушка? И почему ты сидишь и улыбаешься!

— Я вышиваю его имя на платке.

— Чье имя? Того, кто заключил тебя здесь?

— Да, того, кого я встретила двадцать лет тому

назад.

— Ты его еще помнишь?

— Я его помню, как прежде.

А время идет…

— Что ты делаешь, узница?

— Я старею и мое зрение больше мне не позволяет шить, я выскребаю известку из стены. Из известки я леплю кувшин, посильный дар для него.

— О ком ты говоришь?

— О моем возлюбленном, что запер меня в башню.

— Ты улыбаешься тому, что он запер тебя здесь?

— Я думаю о том, что он теперь скажет. Смотрите-ка, скажет он, моя девушка прислала мне кувшинчик, она не забыла меня за эти тридцать лет.

А время идет…

— Что ты, узница, сидишь и ничего не делаешь, и улыбаешься?

— Я старею, старею, глаза у меня ослепли, я только думаю.

— О том, кого ты встретила сорок лет тому назад?

— О том, кого я встретила, когда я была молода.

Может быть, тому и сорок лет.

— Так ты не знаешь, что он умер? Ты бледнеешь, старая, ты не отвечаешь, губы у тебя побелели, ты больше не дышишь…

Вот она-эта странная сага о девушке в башне. Подожди немного, Эзоп, я что-то забыл: раз она услыхала на дворе голос своего возлюбленного, и она упала на колени и покраснела. Тогда ей было сорок лет…

Я погребаю тебя, Ева, и в смирении целую песок на твоей могиле. Густое, алое воспоминание проскальзывает внутри меня, при мысли о тебе; я весь как будто переполняюсь благословением, при воспоминании о твоей улыбке. Ты отдала всё, всё отдала ты, это тебе не стоило никаких усилий; ибо ты была опьяненное дитя самой жизни. Но та, другая, что точно ведет счет даже каждому своему взгляду, может владеть всеми моими мыслями. Почему? Спроси у двенадцати месяцев и у кораблей на море, спроси у загадочного бога сердца.

XXXIV

Кто-то сказал:

— Вы больше не стреляете? Эзоп бегает на свободе по лесу, он гоняет зайца.

Я сказал:

— Пойдите и застрелите его для меня.

Прошло несколько дней, меня посетил господин Мак; глаза у него ввалились, лицо потемнело. Я подумал: «Правда что-ли я могу видеть людей насквозь, или это не правда? Я сам не знаю.»

Господин Мак говорил про обвал, про эту катастрофу. Это был несчастный случай, печальная случайность, я тут был не при чем.

Я сказал:

— Если кто-нибудь, во что бы то ни стало, хотел разлучить меня с Евой, то он этого достиг. Господь его накажет за то!

Господин Мак недоверчиво покосился на меня. Он пробормотал что-то насчет пышности погребения, для которого ничего не пожалели. Я сидел и удивлялся его необыкновенной изворотливости.

Он не требует никакого вознаграждения за

лодку, разбитую произведенным мною обвалом.

— Так в самом деле, — сказал я, — вы не желаете взять никакого вознаграждения за лодку и за бадью со смолой, за кисти?..

— Нет, милейший господин лейтенант, — отвечал он — как это вы могли подумать! — И он посмотрел на меня полными ненависти глазами.

В продолжение трех недель я не видел Эдварды. Впрочем, как-то раз я встретился с ней в лавке, куда я пришел купить себе хлеба, она стояла за прилавком и рылась в различных материях. Кроме нее, там были еще двое приказчиков.

Я громко поздоровался, и она подняла голову, но не отвечала на мое приветствие. Мне вдруг пришло в голову, что я никак не могу спросить хлеба в ее присутствии, я обратился к приказчикам и потребовал дроби и пороху. Пока мне отвешивали, я смотрел на нее. Серое, слишком узкое платье с обтрепанными петлями; плоская грудь вздымалась. Как она выросла за лето! Ее лоб, эти далеко раздвинутые, изогнутые брови выделялись у нее на лице, словно какие-то крылья; все ее движения стали более зрелыми. Я посмотрел на ее руки, вид ее длинных, тонких пальцев подействовал на меня со страшной силой и вызвал во мне дрожь. Она продолжала

рыться в материях.

Я стоял, и мне хотелось, чтобы Эзоп забежал за прилавок, прямо к ней, и признал бы ее; тогда я сей час же позвал бы его к себе и попросил извинения; что бы она на это ответила?

— Пожалуйте! — сказал приказчик.

Я заплатил, взял свои свертки и опять поклонился.

Она взглянула, но и теперь не ответила на поклон.

«Прекрасно! — думал я, — может быть, она уже невеста барона.»

И я ушел без хлеба.

Когда я вышел наружу, я бросил взгляд на окно. Никто не смотрел мне вслед.

XXXV

И вот как-то ночью пошел снег, и в моей хижине стало холодно. Там был очаг, на котором я готовил себе еду, но дрова горели очень плохо, и от стен страшно дуло, хотя я их и проконопатил как следует. Осень прошла, и дни стали короче. Первый снег, растаял на солнце, и земля опять обнажилась, но по ночам было холодно, и вода замерзала. Никаких криков не раздавалось больше с места сушки, и гавань лежала спокойной, всё готовилось встретить северное сияние вечной ночи, когда солнце спит в море. Глухо, глухо раздавались удары весел от какой-то одинокой лодки. В лодке была девушка.

— Где ты была, моя милая.

— Нигде.

— Нигде? Послушай, я тебя узнал, я тебя встретил раз летом.

Она пристала, вышла на берег и привязала лодку.

— Ты была пастушкой, я встретил тебя как-то ночью.

Слабый румянец показался на ее щеках, и она

смущенно засмеялась.

— Дорогая моя, войди в хижину и дай мне на тебя посмотреть. Тебя ведь зовут Генриеттой?

Но она молча прошла мимо меня. Осень, зима овладели и ею. Ее чувства уже спали. Солнце ушло в море.

XXXVI

Я в первый раз надел свой мундир, и отправился в Сирилунд. Сердце у меня усиленно билось. Я вспоминал все события начиная с самого первого дня, когда Эдварда поспешно подошла ко мне и обняла меня на виду у всех; и вот в течение многих месяцев она то бросала меня то снова приближала к себе. Я думал обрадуется ли она если я сегодня брошусь перед ней на колени и открою ей тайну своего сердца! Возможно она попросит меня присесть и велит принести вина, и в то самое мгновение, как она поднесет к губам стакан, чтобы выпить вместе со мной, она скажет: «Господин лейтенант, благодарю вас за те минуты, которые мы провели вместе, я никогда их не забуду!» Но когда я обрадуюсь и во мне зажжется искорка надежды, она сделает вид, что пьет, и поставить стакан нетронутым назад. И она не станет скрывать от меня, что она только делает вид, что пьет, — наоборот, она даст мне это понять. Она во всем всегда какая. Ну и хорошо, скоро пробьет последний час и всё наконец-то станет на свои места! И в то время, как я шел вниз

по дороге, я продолжал размышлять: произведет ли мундир на нее впечатление, галуны на нем новенькие и красивые, сабля будет звенеть по полу. Нервная радость заструилась во мне, и я шептал самому себе: «Кто знает, что еще может произойти!»

Я поднял голову и развел руками. Довольно унижений, нужно знать себе цену! Мне всё равно, что бы ни случилось, я больше не собирался делать попыток к сближению. Извините, что я не делаю вам предложения, красавица…

Господин Мак встретил меня снаружи, во дворе; глаза у него еще больше ввалились, лицо еще больше потемнело.

— Уезжаете? Ну, ну. Да, за последнее время вам было не особенно-то уютно, да? Сгорела ваша хижина.

И господин Мак улыбнулся.

— Входите, господин лейтенант, Эдварда дома. Ну, прощайте, прощайте. Мы встретимся ведь, впрочем, на пристани, когда будет отходить пароход.

Он удалился, повесив голову, думая о чем-то и насвистывая.

Эдварда сидела, в комнате, она читала. Когда я вошел, она на одно мгновенье была поражена ви-

дом моего мундира, она смотрела на меня сбоку, как птица, и даже покраснела.

— Я пришел проститься, — произнес, наконец, я.

Она вдруг встала, и я видел, что мои слова произвели на нее некоторое действие.

— Глан, вы уезжаете? Сейчас?

— Как только придет пароход.

Я схватил ее руку, обе ее руки и безумный восторг овладел мной, я воскликнул: «Эдварда!» и впился в нее глазами.

И в то же самое мгновение она стала холодной, холодной и упрямой. Казалось всё в ней восставало против меня. Она выпрямилась и оттолкнула меня. Я стоял перед ней, как нищий, я выпустил ее руки и дал ей уйти. Я вспоминаю, что с этого мгновения я стоял и повторял машинально: «Эдварда! Эдварда!». А когда она спросила: «Ну? Что вы хотите сказать?» Я ничего ей не мог ответить.

— Подумать только, вы уже уезжаете! — повторяла она. — Кто это теперь явится на будущий год?

— Кто-нибудь другой, — отвечал я. — Хижину ведь опять выстроят.

— Очень жаль, что моего отца нет дома, — сказала она. — Но я передам ему от вас поклон.

На это я не отвечал. Я выступил вперед, взял ее руку еще раз и сказал:

— Да, прощайте, Эдварда.

— Прощайте, — отвечала она.

Я открыл дверь и сделал вид, что ухожу. Она уже сидела с книгой в руках и читала, или делала вид, что читает. Никакого, никакого впечатления не произвела на нее предстоящая разлука со мной.

Я кашлянул.

Она обернулась и сказала, пораженная:

— Вы еще не ушли? Мне показалось, вы ушли.

Притворялась она или нет, Бог знает, но ее удивление было слишком велико и наиграно, поэтому у меня появилась мысль, что она, может быть, всё время знала, что я стоял позади ее.

— Теперь я уйду, — сказал я.

Тут она встала и подошла ко мне.

— Мне очень хотелось бы иметь что-нибудь от вас на память, раз вы уж уезжаете, — сказала она. — Я думала попросить вас об одной вещи; но это, конечно, я слишком многого захотела. Отдадите вы мне Эзопа?

Я не успел подумать, как уже отвечал утвердительно.

— В таком случае, вы, может, придете с ним завтра, — сказала она.

Я ушел.

На улице я взглянул вверх на окно. Там никого не было. Теперь — всё точно кончено…

Последняя ночь в хижине. Я был в мечтательном настроении, я считал часы; когда наступит утро, я приготовил себе в последний раз обед. День был холодный. Зачем она просила, чтобы я сам доставил ей Эзопа? Хотела ли она поговорить со мной, сказать мне что-нибудь в последний раз? Мне нечего было больше ждать. И как она стала бы обращаться с Эзопом? Эзоп, Эзоп, она станет тебя мучить! Из-за меня она будет бить тебя, быть может, также и ласкать, но непременно будет бить тебя, когда ей вздумается, и в конец испортит тебя. Я подозвал Эзопа к себе, поласкал его, положил наши головы рядышком и взялся за ружье. Он уже начал визжать от радости, думая, что мы отправляемся на охоту. Я опять положил наши головы рядышком, приставил ружейное дуло к затылку Эзопа и спустил курок. Я нанял человека отнести Эдварде труп Эзопа.

XXXVII

Почтовый пароход отходил к вечеру. Я спустился к пристани, мой багаж был уже сдан. Господин Мак пожал мне руку и порадовал меня тем, что мне предстоит хорошая погода, приятная погода, он сам был бы не прочь проехаться в такую погоду. Доктор пришел пешком, его сопровождала Эдварда; я чувствовал, как колени у меня начинали дрожать.

— Нам хотелось посмотреть, как вы будете уезжать, — сказал доктор.

Эдварда посмотрела мне прямо в лицо и сказала:

— Я должна поблагодарить господина лейтенанта за его собаку.

Она крепко сжала губы, они были у нее совсем белые.

Снова она называла меня «господин лейтенант».

— Когда отходит пароход? — спросил кого-то доктор.

— Через полчаса.

Я ничего не сказал.

Эдварда в возбуждении оборачивалась то туда, то сюда.

— Не пора ли нам, доктор, возвращаться домой? — спросила она. — Я сделала свое дело.

— Вы исполнили свою обязанность, — сказал доктор.

Она засмеялась, приниженная его этими постоянными поправками, и отвечала:

— Ну да, разве я не то же самое сказала?

— Нет, — отвечал он коротко и внушительно.

Я посмотрел на него. Маленький человечек стоял с равнодушным и уверенным видом; он составил себе план и следовал ему до самого конца. А если он всё-таки потерпел неудачу? В таком случае он не подавал даже и виду, его лицо никогда не выражало ничего.

Начало смеркаться.

— Ну, прощайте, — сказал я — благодарю вас за всё.

Эдварда, молча, взглянула на меня. И вот она повернула голову и стала смотреть в море, по направлению к пароходу.

Я вошел в лодку. Эдварда всё еще стояла на набережной. Когда я прибыл на пароход, доктор крикнул:

— Прощайте!

Я посмотрел на берег, как раз в это мгновение Эдварда повернулась и торопливо уходила с набережной домой, оставив далеко за собой доктора. Так я ее видел в последний раз. Волна грусти пробежала в моем сердце… Пароход начал двигаться; я еще видел вывеску господина Мака «Склад соли и пустых бочек», но скоро и она скрылась из виду. Выступил месяц и звезды, повсюду кругом поднялись горы, и я видел бесконечные леса. Вон там мельница, там стояла моя хижина, которая теперь сгорела; высокий серый камень один остался на пожарище. Изелина, Ева…

Полярная ночь расстилалась над горами и долинами.

XXXVIII

Я писал это, чтобы скоротать время. Мне было приятно вспоминать об этом лете в северной Норвегии, когда я часто считал часы, но время всё-таки летело. Всё изменилось, дни не хотят уже больше проходить так быстро. У меня бывают еще иногда веселые минуты, но время стоит неподвижно, и я не понимаю, как это оно может стоять так неподвижно. Я оставил военную службу и теперь свободен, как принц, всё — как нельзя лучше, я встречаюсь с людьми, разъезжаю в экипажах; временами я закрываю один глаз и пишу на небе указательным пальцем, я щекочу под шейкой месяц, и, мне кажется, он смеется, надрывается от смеха, радуясь, словно дурачок. Я пускаю пробку в потолок и созываю веселых людей. Что касается Эдварды, то я о ней и не думаю. Почему бы мне и не забыть о ней совершенно за такой долгий срок? Жизнь мне улыбается. И спроси меня кто-нибудь, есть ли у меня какие-нибудь заботы, — без малейшего колебания отвечу нет, у меня никаких нет забот…

Кора лежит и смотрит на меня, часы тикают на

камине, в открытые окна ко мне долетает шум городской сутолоки. Стучат в дверь, и почтальон подает мне письмо. На письме корона. Я знаю, от кого оно, я сейчас же сообразил, или, быть может, это пригрезилось мне раньше как-нибудь в бессонную ночь. Но в письме ничего не написано, в нем лежат только два зеленых птичьих пера.

Леденящий ужас пронизал меня, я похолодел.

«Два зеленых пера!» — сказал я про себя. Ну, что ж с этим поделаешь! Но почему мне так холодно? Всё этот проклятый сквозняк вон из тех окон.

И я закрыл окна.

Вот два птичьих пера, продолжаю я думать; мне кажется, я должен их знать, они напоминают мне об одной незначительной шутке на далеком севере Норвегии, — пустячное воспоминание среди множества других воспоминаний; было приятно снова увидеть эти два пера. И вдруг, мне кажется, я вижу лицо и слышу голос, и голос говорит:

— Пожалуйста, господин лейтенант, вот ваши птичьи перья!

Ваши птичьи перья…

Кора, лежи спокойнее, слышишь, я изобью тебя на смерть, пошевелись только! Погода теплая, невыносимая жара; что это мне вздумалось закрыть окна! Раскрыть опять окна, настежь все

двери; сюда, веселые люди, входите. Эй, посыльный, сходи-ка, тут у меня есть одно дельце… И дни идут, но время стоит неподвижно.

Всё это я писал ради своего только удовольствия и развлекался этим, насколько мог. Никакая забота меня не тяготит, мне только ужасно хочется уехать отсюда, куда, я сам не знаю, но далеко, далеко, в Африку или в Индию; ибо я принадлежу лесам и одиночеству.